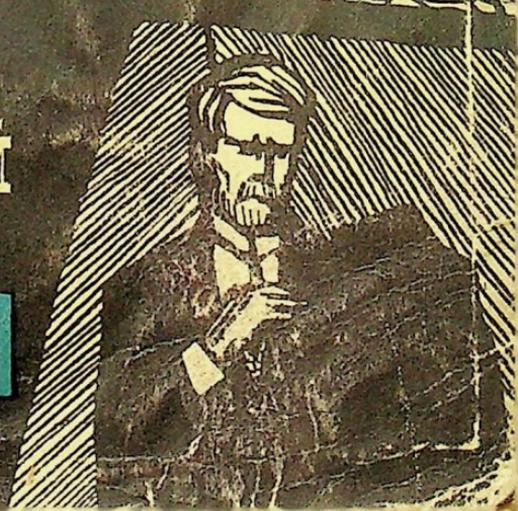


Ф. М.
ДОСТОЕВСКИЙ
КРОТКАЯ



Р. | 40700

Δ 20 Достоевский

Кроткая.

598.10/ч.

		2р35
97.10/ч.		Т30

40700

681

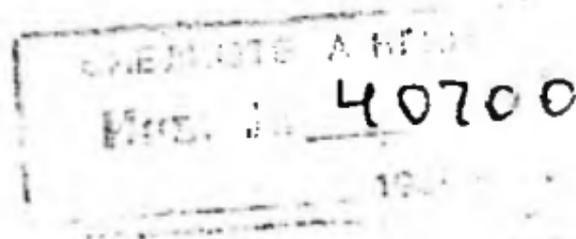
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

69

КРОТКАЯ



И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ



Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1960

Тексты печатаются по изданию:
Ф. М. Достоевский, Собрание сочинений в десяти томах,
Гослитиздат, 1956—1958 гг.

Оформление художника
Ю. КРАСНОГО

ЧЕСТНЫЙ ВОР

Из записок неизвестного

Однажды утром, когда я уже совсем собрался идти в должность, вошла ко мне Аграфена, моя кухарка, прачка и домоводка, и, к удивлению моему, вступила со мной в разговор.

До сих пор это была такая молчаливая, простая баба, что, кроме ежедневных двух слов о том, чего приготовить к обеду, не сказала лет в шесть почти ни слова. По крайней мере я более ничего не слышал от нее.

— Вот я, сударь, к вам, — начала она вдруг, — вы бы отдали взаем каморку.

— Какую каморку?

— Да вот что подле кухни. Известно какую.

— Зачем?

— Зачем! затем, что пускают же люди жильцов. Известно зачем.

— Да кто ее наймет?

— Кто наймет! Жилец наймет. Известно кто.

— Да там, мать моя, и кровати поставить нельзя; тесно будет. Кому ж там жить?

— Зачем там жить! Только бы спать где было; а он на окне будет жить.

— На каком окне?

— Известно на каком, будто не знаете! На том, что в передней. Он там будет сидеть, шить или что-нибудь делать. Пожалуй, и на стуле сядет. У него есть стул; да и стол есть; все есть.

— Кто ж он такой?

— Да хороший, бывалый человек. Я ему буду кушанье готовить. И за квартиру, за стол буду всего три рубля серебром в месяц брать...

Наконец, я, после долгих усилий, узнал, что какой-то пожилой человек уговорил или как-то склонил Аграфену пустить его в кухню, в жилыцы и в хлебнишки. Что Аграфене пришло в голову, тому должно было сделаться; иначе, я знал, что она мне покоя не даст. В тех случаях, когда что-нибудь было не по ней, она тотчас же начинала задумываться, впадала в глубокую меланхолию, и такое состояние продолжалось недели две или три. В это время портилось кушанье, не досчитывалось белье, полы не были вымыты, одним словом происходило много неприятностей. Я давно заметил, что эта бессловесная женщина не в состоянии была составить решения, установиться на какой-нибудь собственно ей принадлежащей мысли. Но уж если в слабом мозгу ее каким-нибудь случайным образом складывалось что-нибудь похожее на идею, на предприятие, то отказать ей в исполнении значило на несколько времени морально убить ее. И потому, более всего любя собственное спокойствие, я тотчас же согласился.

— Есть ли по крайней мере у него вид какой-нибудь, паспорт или что-нибудь?

— Как же! известно есть. Хороший, бывалый человек; три рубля обещался давать.

На другой же день в моей скромной, холостой квартире появился новый жилец; но я не досадовал, даже про себя был рад. Я вообще живу уединенно, совсем затворником. Знакомых у меня почти никого; выхожу я редко. Десять лет прожив глухарем, я, конечно, привык к уединению. Но десять, пятнадцать лет, а может быть, и более такого же уединения, с такой же Аграфеной, в той же холостой квартире, — конечно, довольно бесцветная перспектива! И потому лишний смирный человек при таком порядке вещей — благодать небесная!

Аграфена не солгала: жилец мой был из бывалых людей. По паспорту оказалось, что он из отставных солдат, о чем я узнал и не глядя на паспорт, с первого взгляда, по лицу. Это легко узнать. Астафий Иванович, мой жилец, был из хороших между своими. Зажили мы хорошо. Но всего лучше было, что Астафий Ивано-

вич подчас умел рассказывать истории, случаи из собственной жизни. При всегдашней скуке моего житья-бытья такой рассказчик был просто клад. Раз он мне рассказал одну из таких историй. Она произвела на меня некоторое впечатление. Но вот по какому случаю произошел этот рассказ.

Однажды я остался в квартире один: и Астафий и Аграфена разошлись по делам. Вдруг я услышал из второй комнаты, что кто-то вошел, и, показалось мне, чужой; я вышел: действительно, в передней стоял чужой человек, малый невысокого роста, в одном сюртуке, несмотря на холодное, осеннее время.

— Чего тебе?

— Чиновника Александра; здесь живет?

— Такого нет, братец; прощай.

— Как же дворник сказал, что здесь, — проговорил посетитель, осторожно ретируясь к дверям.

— Убирайся, убирайся, братец; пошел.

На другой день после обеда, когда Астафий Иванович примерял мне сюртук, который был у него в переделке, опять кто-то вошел в переднюю. Я приотворил дверь.

Вчерашний господин, на моих же глазах, преспокойно снял с вешалки мою бекешь, сунул ее под мышку и пустился вон из квартиры. Аграфена все время смотрела на него, разинув рот от удивления, и больше ничего не сделала для защиты бекешки. Астафий Иванович пустился вслед за мошенником и через десять минут воротился, весь запыхавшись, с пустыми руками. Сгинул да пропал человек!

— Ну, неудача, Астафий Иванович. Хорошо еще, что шинель нам осталась! А то бы совсем посадил на мель, мошенник!

Но Астафия Ивановича все это так поразило, что я даже позабыл о покраже, на него глядя. Он опомниться не мог. Поминутно бросал работу, которую был занят, поминутно начинал сызнова рассказывать дело, каким это образом все случилось, как он стоял, как вот в глазах, в двух шагах, сняли бекешь, и как это все устроилось, что и поймать нельзя было. Потом опять садился за работу; потом опять бросал все, и я видел, как, наконец, пошел он к дворнику рассказать и попрекнуть его, что на своем дворе таким делам быть

пускает. Потом воротился и Аграфену начал бранить. Потом опять сел за работу и долго еще бормотал про себя, что вот как это все дело случилось, как он тут стоял, а я там, и как вот в глазах, в двух шагах, сняли бекешу и т. д. Одним словом, Астафий Иванович, хотя дело сделать умел, однако был большой кропотун и хлопотун.

— Одурачили нас с тобой, Астафий Иванович! — сказал я ему вечером, подавая ему стакан чая и желая от скуки опять вызвать рассказ о пропавшей бекеше, который от частого повторения и от глубокой искренности рассказчика начинал становиться очень комическим.

— Одурачили, сударь! Да просто вчуже досадно, зло пробирает, хоть и не моя одежда пропала. И, помоему, нет гадины хуже вора на свете. Иной хоть задаром берет, а этот твоей труд, пот, за него пролитой, время твое у тебя крадет... Гадость, тьфу! говорить не хочется, зло берет. Как это вам, сударь, своего добра не жалко?

— Да, оно правда, Астафий Иванович; уж лучше сгори вещь, а вору уступить досадно, не хочется.

— Да уж чего тут хочется! Конечно, вор вору рознь... А был, сударь, со мной один случай, что попал я и на честного вора.

— Как на честного! Да какой же вор честный, Астафий Иванович?

— Оно, сударь, правда! Какой же вор честный, и не бывает такого. Я только хотел сказать, что честный, кажется, был человек, а украл. Просто жалко было его.

— А как это было, Астафий Иванович?

— Да было, сударь, тому назад года два. Пришлось мне тогда без малого год быть без места, а когда еще дожидал я на месте, сошелся со мной один пропащий совсем человек. Так, в харчевне сошлись. Пьянчужка такой, потаскун, тунеядец, служил прежде где-то, да его за пьяную жизнь уж давно из службы выключили. Такой недостойный! ходил он уж бог знает в чем! Иной раз так думаешь, есть ли рубашка у него под шинелью; все, что он заведется, пропьет. Да не буян; характером смирен, такой ласковый, добрый, и не просит, все советится: ну, сам видишь, что хочется выпить бедняге, и поднесешь. Ну, так-то я с ним и сошелся, то есть он ко мне привязался... мне-то все равно. И какой был человек! Как собачонка привяжется, ты туда — и он за

тобой; а всего один раз только виделись, мозгляк такой! Сначала пусти его переночевать — ну, пустил; вижу, и паспорт в порядке, человек ничего! Потом, на другой день, тоже пусти его почевать, а там и на третий пришел, целый день на окне просидел; тоже почевать остался я. Ну, думаю, навязался ж он на меня; и пой и корми его, да еще почевать пускай — вот бедному человеку, да еще на хлебник на шею садится. А прежде он тоже, как и ко мне, к одному служащему хаживал, привязался к нему, вместе всё пили; да тот спился и умер с какого-то горя. А этого звали Емелей, Емельяном Ильичом. Думаю, думаю: как мне с ним быть? прогнать его — совестно, жалко: такой жалкий, пропащий человек, что и господи! И бессловесный такой, не просит, сидит себе, только как собачонка в глаза тебе смотрит. То есть вот как нянство человека испортит! Думаю про себя: как скажу я ему: ступай-ка ты, Емельянушка, вон; нечего тебе делать у меня; не к тому попал; самому скоро перекусить будет нечем, как же мне держать тебя на своих харчах? Думаю, сижу, что он сделает, как я такое скажу ему? Ну, и вижу сам про себя, как бы долго он глядел на меня, когда бы услышал мою речь, как бы долго сидел и не понимал ни слова, как бы потом, когда вдомек бы взял, встал бы с окна, взял бы свой узелок, как теперь вижу, клетчатый, красный, дырявый, в который бог знает что завертывал и всюду с собой носил, как бы оправил свою шинелишку, так, чтоб и прилично было, и тепло, да и дырьев было бы не видать — деликатный был человек! как бы отворил потом дверь, да и вышел бы с слезинкой на лестницу. Ну, не пропадать же совсем человеку... жалко стало! А тут потом, думаю, мне-то самому каково! Постой же, смекаю про себя, Емельянушка, недолго тебе у меня пировать; вот скоро съеду, тогда не найдешь. Ну-с, сударь, съехали мы; тогда еще Александр Филимонович барин (теперь покойник, царство ему небесное) говорят: очень остаюсь тобою доволен, Астафий, воротимся все из деревни, не забудем тебя, опять возьмем. А я у них в дворецких проживал — добрый был барин, да умер в том же году. Ну, как проводили мы их, взял я свое добро, деньжонок кой-каких было, думаю, попокоюсь себе, да и съехал я к одной старушонке, угол занял у ней. А у ней и всего-то один угол свободный был. Тоже в нянюшках где-то была, так теперь особо жила, нецпон

получала. Ну, думаю, прощай теперь, Емельяпушка, родной человек, не найдешь ты меня! Что ж, сударь, думаете? Воротился я повечеру (к знакомому человеку поглядаться ходил) и первого вижу Емелю, сидит себе у меня на сундуке, и клетчатый узелок подле него, сидит и шинелишке, меня поджидает... да от скуки еще книжку церковную у старухи взял, вверх ногами держит. Нашел-таки! И руки у меня опустились. Ну, думаю, нечего делать, — зачем сначала не гнал? Да прямо и спрашиваю: «Принес ли паспорт, Емеля?»

Я тут, сударь, сел да начал раздумывать; что ж он, скитающийся человек, много ль помехи мне сделает? И вышло, по раздумье, что немногого будет стоить помеха. Кушать ему надо, думаю. Ну, хлеба кусочек утром, да чтоб приправа посмачнее была, так лучку купить. Да в полдень ему тоже хлеба да лучку дать; да повечерять тоже лучку с квасом да хлеба, если хлеба захочет. А навернутся ши какие-нибудь, так мы уж оба по горлушко сыты. Я-то есть много не ем, а пьющий человек, известно, ничего не ест: ему бы только пастоечки да зелена винца. Доконает он меня на питейном, подумал я, да тут же, сударь, и другое в голову пришло, и ведь как забрало меня. Да так, что вот если б Емеля ушел, так я бы жизни не рад был... Порешил же я тогда быть ему отцом-благодетелем. Воздержу, думаю, его от злой гибели, отучу его чарочку знать! Постой же ты, думаю: ну, хорошо, Емеля, оставайся, да только держись теперь у меня, слушай команду!

Вот и думаю себе: начну-ка я его теперь к работе какой приучать, да не вдруг; пусть сперва погуляет маленько, а я меж тем приглянусь, понюшу, к чему бы такому, Емеля, способность найти в тебе. Потому что на всякое дело, сударь, наперед всего человеческая способность нужна. И стал я к нему тихомолку приглядываться. Вижу: отчаянный ты человек, Емельяпушка! Начал я, сударь, сперва с доброго слова: так и сяк, говорю, Емельян Ильич, ты бы на себя посмотрел да как-нибудь там поправился.

— Полно гулять! Смотри-ка, в отребье весь ходишь, шинелишка-то твоя, простительно сказать, на решето годится; нехорошо! Пора бы, кажется, честь знать. — Сидит, слушает меня, понури голову, мой Емельяпушка. Чего сударь! Уж до того дошел, что язык пропил, слова

путного сказать не умест. Начнешь ему про огурцы, а он тебе на бобах откликается! слушает меня, долго слушает, а потом и вздохнет.

— Чего ж ты вздыхаешь, спрашиваю, Емельян Ильич?

— Да так-с, ничего, Астафий Иванович, не беспокойтесь. А вот сегодня две бабы, Астафий Иванович, подрались на улице, одна у другой лукошко с клюквой невзначай рассыпала.

— Ну, так что ж?

— А другая за то ей нарочно ее же лукошко с клюквой рассыпала, да еще ногой давить начала.

— Ну, так что ж, Емельян Ильич?

— Да ничего-с, Астафий Иванович, я только так.

«Ничего-с, только так. Э-эх! думаю, Емеля, Емелюшка! пропил-прогулял ты головушку!..»

— А то барин ассигнацию обронил на панели в Гороховой, то бишь в Садовой. А мужик увидал, говорит: мое счастье; а тут другой увидал, говорит: нет, мое счастье! Я прежде твоего увидал...

— Ну, Емельян Ильич.

— И задрался мужики, Астафий Иванович. А гороховой подошел, поднял ассигнацию и отдал барину, а мужиков обоих в будку грозил посадить.

— Ну, так что ж? что же тут такого назидательного есть, Емельянушка?..

— Да я ничего-с. Народ смеялся, Астафий Иванович.

— Э-эх, Емельянушка! что народ! Продал ты за медный алтын свою душеньку. А знаешь ли что, Емельян Ильич, я скажу-то тебе?

— Чего-с, Астафий Иванович?

— Возьми-ка работу какую-нибудь, право возьми. Сотый говорю, возьми, пожалей себя!

— Что же мне взять такое, Астафий Иванович? я уж не знаю, что я такое возьму, и меня-то никто не возьмет, Астафий Иванович.

— За то ж тебя и из службы изгнали, Емеля, пьяный ты человек!

— А то вот Власа-буфетчика в контору позвали сегодня, Астафий Иванович.

— Зачем же, говорю, позвали его, Емельянушка?

— А вот уж и не знаю зачем, Астафий Иванович. Знает, уж оно там нужно так было, так и потребовали...

«Э-эх! думаю, пропали мы оба с тобой, Емельянушка! За грехи наши нас господь накажет!» Ну, что с таким человеком делать прикажете, сударь!

Только хитрый был парень, куды! Слушал он, слушал меня, да потом, зная, ему надосло, чуть увидит, что я осерчал, возьмет шинелишку, да и улизнет — поминай как звали! день прошатается, придет под вечер пьяненький. Кто его поил, откуда он деньги брал, уж господь его ведает, не моя в том вина вишовата!..

— Нет, говорю, Емельян Ильич, не сносить тебе головы! Полно пить, слышишь ты, полно! Другой раз, коли пьяный воротиться, на лестнице будешь у меня почевать. Не пушу!..

Выслушав наказ, сидит мой Емелья день, другой; на третий опять улизнул. Жду-подожду, не приходит! Уж я, признаться сказать, перетрусил, да и жалко мне стало. Что я сделал над ним! думаю. Запугал я его. Ну, куда он пошел теперь, горемыка? пропадет, пожалуй, господи бог мой! Ночь пришла, не идет. Наутро вышел я в сени, смотрю, а он в сенях почивать изволил. На приступочку голову положил и лежит; охостенел от стужи совсем.

— Что ты, Емелья? Господь с тобой! Куда ты попал?

— Да вы, энтото, Астафий Иванович, сердились намедни, огорчаться изволили и обещались в сенях мени спать положить, так я, энтото, и не посмел войти, Астафий Иванович, да и лег тут!..

И злость и жалость взяли меня!

— Да ты б, Емельян, хоть бы другую какую-нибудь должность взял, говорю. Чего лестницу-то стеречь!..

— Да какую ж бы другую должность, Астафий Иванович?

— Да хоть бы ты, пропащая ты душа, говорю (зло меня такое взяло!), хоть бы ты портняжному-то искусству повыучился. Ишь у тебя шинель-то какая! Мало что в дырках, так ты лестницу ею метешь! взял бы хоть иголку да дырья-то свои законопатил, как честь велит. Э-эх, пьяный ты человек!

Что ж, сударь! и взял он иглу; ведь я ему на смех сказал, а он оробел, да и возьми. Скинул шинелишку и начал нитку в иглу вдевать. Я гляжу на него; ну, дело известное, глаза нагноились, покраснели; руки трепещут, хоть ты што! совал, совал, — не вдевается нитка;

уж он как примигивался: и помуслит-то и посучит в руках — нет! бросил, смотрит на меня...

— Ну, Емеля, одолжил ты меня! было б при людях, так голову срезал бы! Да ведь я тебе, простому такому человеку, на смех, в укору сказал... Уж ступай, бог с тобой, от греха! сиди так да срамного дела не делай, по лестницам не ночуй, меня не срами!..

— Да что же мне делать-то, Астафий Иваныч; я ведь и сам знаю, что всегда пьяненький и никуда не гожусь!.. Только вас, моего бла... благо-детеля, в сердце ввожу понапрасну...

Да тут как затрясутся у него вдруг его синие губы, как покатилась слезинка по белой щеке, как задрожала эта слезинка на его бороденке небритой, да как зальется, прыснет вдруг целой пригоршней слез мой Емельянуш... Батюшки! словно ножом мне полоснуло по сердцу.

«Эх ты, чувствительный человек, совсем и не думал! Кто бы знал, кто гадал про то?.. Нет, думаю, Емеля, отступлюсь от тебя совсем; пропадай, как веточка!..»

Ну, сударь, что тут еще долго рассказывать! Да и вся-то вещь такая пустая, мизерная, слов не стоит, что есть вы, сударь, примерно сказать, за нее двух слованных грошей не дадите, а я-то бы много дал, если б у меня много было, чтоб только всего того не случилось! Были у меня, сударь, ретузы, прах их возьми, хорошие, главные ретузы, синие с клетками, а заказывал мне их помещик, который сюда приезжал, да отступился потом, говорит: узки; так они у меня на руках и остались. Думаю: ценная вещь! в Толкучем целковых пять, может, дадут, а нет, так я из них двое панталон петербургским господам выгадаю, да еще хвостик мне на жилетку останется. Оно бедному человеку, нашему брату, знаете, все хорошо! А у Емельянушки на ту пору прилучись время буровое, грустное. Смотрю, день не пьет, другой не пьет, третий — хмельного в рот не берет, совел совсем, индо салко, сидит пригорюнившись. Ну, думаю: али куплева, парень, нет у тебя, аль уж ты сам на путь божий пошел, да баста сказал, резону послушался. Вот, сударь, так это все и было; а на ту пору случись праздник большой. Я пошел ко всенощной; прихожу — сидит мой Емеля на окошечке пьяненький, покачивается. Э-ге! думаю, так-то ты, парень! да и пошел зачем-то в сундук.

Глядь! а ретуз-то и нету!.. Я туда и сюда: сгинули! Ну, как перерыл я все, вижу, что нет, — так меня по сердцу как будто скребнуло! Бросился я к старушонке, сначала ее поклепал, согрешил, а на Емелю, хоть и улика была, что пьяным сидит человек, и домека не было! «Нет, — говорит моя старушонка, — госполь с тобой, кавалер, на что мне ретузы, носить, что ли, стать? у меня у самой наемдин юбка на добром человеке из вашего брата пропала... Ну, то есть, не знаю, не ведаю», — говорит. «Кто здесь был, говорю, кто приходил?» — «Да никто, говорит, кавалер, не приходил; я все здесь была. Емельян Ильич выходил да потом и пришел; вон сидит! Его допроси». — «Не брал ли, Емеля, говорю, по какой-нибудь надобности, ретуз моих новых, поминишь, еще на помещика строили?» — «Нет, говорит, Астафий Иванович, я, то есть, этого, их не брал-с».

Что за оказия! опять искать начал, искал-искал — нет! А Емеля сидит да покачивается. Сидел я вот, сударь, так перед ним, над сундуком, на карточках, да вдруг и накосился на него глазом... Эх-ма, думаю, да так вот у меня и зажгло сердце в груди; даже в краску бросило. Вдруг и Емеля посмотрел на меня.

— Нет, говорит, Астафий Иванович, я ретуз-то ваших, этого... вы, может, думаете, что того, а я их не брал-с.

— Да куда же бы пропасть им, Емельян Ильич?

— Нет, говорит, Астафий Иванович; не видал совсем.

— Что же, Емельян Ильич, знать уж они, как там их есть, взяли да сами пропали?

— Может, что и сами пропали, Астафий Иванович.

Я как выслушал его, как был — встал, подошел к окну, засветил свечку да и сел работу тачать. Жилетку чиновнику, что под нами жил, передслышал. А у самого так вот и горит, так и ноет в груди. То есть легче б, если б я всем гардеробом печь затопил. Вот и почуял, знать, Емеля, что меня зло схватило за сердце. Оно, сударь, коли злу человек причастен, так еще издали чувствует беду, словно перед грозой птица небесная.

— А вот, Астафий Иванович, — начал Емелюшка (а у самого дрожит голосенок), — сегодня Антип Прохорыч, фельдшер, на кучеровой жене, что помер наемдин, женился...

Я, то есть, так поглядел на него, да уж злостно, знать, поглядел... Понял Емеля. Вижу: встает, подошел к кровати и начал около нее что-то пошаривать. Жду — долго возится, а сам все приговаривает: «Нет как нет, куда бы им, шельмам, сгинуть!» Жду, что будет; вижу, полез Емеля под кровать на корточках. Я и не вытерпел.

— Чего вы, говорю, Емельян Ильич, на корточках-то ползаете?

— А вот нет ли ретуз, Астафий Иванович. Посмотреть, не завалились ли туда куда-нибудь.

— Да что вам, сударь, говорю (с досады величать его начал), что вам, сударь, за бедного, простого человека, как я, заступаться; коленки-то попусту ерзать!

— Да что ж, Астафий Иванович, я ничего-с... Оно, может, как-нибудь и найдутся, как поискать.

— Гм!.. говорю; послушай-ка, Емельян Ильич!

— Что, говорит, Астафий Иванович?

— Да не ты ли, говорю, их просто украл у меня, как вор и мошенник, за мою хлеб-соль услужил? — То есть вот как, сударь, меня разобрало чем, что он на коленках передо мной начал по полу ерзать.

— Нет-с... Астафий Иванович...

А сам, как был, так и остался под кроватью ничком. Долго лежал; потом выполз. Смотрю: бледный совсем человек, словно простыня. Привстал, сел подле меня на око, этак минут с десять сидел.

— Нет, говорит, Астафий Иванович, — да вдруг и встал и подступил ко мне, как теперь смотрю, страшный, как грех.

— Нет, говорит, Астафий Иванович, я ваших ретуз, того, не изволил брать...

Сам весь дрожит, себя в грудь пальцем трясучим тыкает, а голосенок-то дрожит у него так, что я, сударь, сам оробел и словно прирос к окну.

— Ну, говорю, Емельян Ильич, как хотите, простите, коли я, глупый человек, вас попрекнул понапраслиной. А ретузы пусть их, знать, пропадают; не пропадем без ретуз. Руки есть, слава богу, воровать не пойдем... и побираться у чужого бедного человека не будем; заработаем хлеба...

Выслушал меня Емеля, постоял-постоял передо мной, смотрю — сел. Так и весь вечер присидел, не шелохнулся; уж я и ко сну отошел, все на том же месте

Емеля сидит. Наутро только, смотрю, лежит себе на голом полу, скрючившись в своей шинелишке; унизился больно, так и на кровать лечь не пришел. Ну, сударь, невзлюбил я его с этой поры, то есть на первых днях возненавидел. Точно это, примерно сказать, сын родной меня обокрал да обиду кровную мне причинил. Ах, думаю, Емеля, Емеля! А Емеля, сударь, недели с две без просыпу льет. То есть остервенился совсем, опился. С утра уйдет, придет поздней ночью, и в две недели хоть бы слово какое я от него услышал. То есть, верно, это его самого тогда горе загрызло, или извести себя как-нибудь хотел. Наконец, баста, прекратил, знать все пропил, и сел опять на окно. Помню, сидел, молчал трое суток; вдруг, смотрю: плачет человек. То есть сидит, сударь, и плачет, да как! то есть просто колодезь, словно не слышит сам, как слезы роняет. А тяжело, сударь, видеть, когда взрослый человек, да еще старик-человек, как Емеля, с беды-грусти плакать начнет.

— Что ты, Емеля? — говорю.

И всего его затрясло. Так и вздрогнул. Я, то есть, первый раз с того времени к нему речь обратил.

— Ничего... Астафий Иваныч.

— Господь с тобой, Емеля, пусть его все пропадает. Чего ты такой совой сидишь? — Жалко мне стало его.

— Так-с, Астафий Иваныч, я не того-с. Работу какую-нибудь хочу взять, Астафий Иваныч.

— Какую же бы такую работу, Емельян Ильич?

— Так, какую-нибудь-с. Может, должность какую найду-с, как и прежде; я уж ходил просить к Федосею Иванычу... Нехорошо мне вас обижать-с, Астафий Иваныч. Я, Астафий Иваныч, как, может быть, должность-то найду, так вам все отдам и за все харчи ваши вам вознаграждение представлю.

— Полно, Емеля, полно; ну, был грех такой, ну — и прошел! Прах его побери! Давай жить по-старому.

— Нет-с, Астафий Иваныч, вы, может быть, все того... а я ваших ретуз не изволил брать...

— Ну, как хочешь; господь с тобой, Емельянушка!

— Нет-с, Астафий Иваныч. Я, видно, больше у вас не жилец. Уж вы меня извините, Астафий Иваныч.

— Да господь с тобой, говорю, кто тебя, Емельян Ильич, обижает, с двора гонит, я, что ли?

— Нет-с, неприлично мне так жить у вас, Астафий Иваныч... Я лучше уж пойду-с...

То есть разобиделся, наладил одно человек. Смотрю я на него, и вправду встал, тащит на плеча шинельку.

— Да куда ж ты, этово, Емельян Ильич? послушай ума-разума: что ты? куда ты пойдешь?

— Нет, уж вы прощайте, Астафий Иваныч, уж не держите меня (сам опять хнычет); я уж пойду от греха, Астафий Иваныч. Вы уж не такие стали теперь.

— Да какой не такой? такой! Да ты как дитя малое, неразумное, пропадешь один, Емельян Ильич.

— Нет, Астафий Иваныч, вы вот как уходите, сундук теперь запираете, а я, Астафий Иваныч, вижу и плачу... Нет, уж вы лучше пустите меня, Астафий Иваныч, и простите мне всё, чем я в нашем сожителстве вам обиду нанес.

Что ж, сударь? и ушел человек. День жду, вот, думаю, воротится к вечеру — нет! Другой день нет, третий — нет. Испугался я, тоска меня ворочает; не ем, не сплю. Обезоружил меня совсем человек! Пошел я на четвертый день ходить во все кабачки! заглядывал, спрашивал — нет, пропал Емельянушка! «Уж сносил ли ты свою голову победную? — думаю. — Может, издох где у забора пьяненький и теперь, как бревно гнилое, лежишь». Ни жив ни мертв я домой воротился. На другой день тоже идти искать положил. И сам себя проклинаю, зачем я тому попустил, чтоб глупый человек на свою волю ушел от меня. Только смотрю: чем свет на пятый день (праздник был) скрипит дверь. Вижу, входит Емеля: синий такой и волосы все в грязи, словно спал на улице; исхудал весь, как лучина; снял шинельку, сел ко мне на сундук, глядит на меня. Обрадовался я, да пуше прежнего тоска к моей душе припаялась. Оно вот как, сударь, выходит: случись, то есть, надо мной такой грех человеческий, так я, право слово, говорю: скорей, как собака, издох бы, а не пришел. А Емеля пришел! Ну, естественно, тяжело человека в таком положении видеть. Начал я его лелеять, ласкать, утешать. «Ну, говорю, Емельянушка, рад, что ты воротился. Опоздал бы маленько прийти, я б и сегодня пошел по кабачкам тебя промышлять. Кушал ли ты?»

— Кушал-с, Астафий Иваныч.

— Полно, кушал ли? Вот, братец, щец вчерашних маленько осталось, на говядине были, не пустые; а вот и лучку с хлебом. Покушай, говорю, оно на здоровье не лишнее.

Подав я ему; ну, тут и увидал, что, может, три дня целых не ел человек — такой аппетит оказался. Это, значит, его голод ко мне пригнал. Разголубился я, на него глядя, сердечного. Сем-ка, я думаю, в штофную сбегает. Принесу ему отвести душу, да и покончим, полно! Нет у меня больше на тебя злобы, Емельянушка! Принес вина. Вот, говорю, Емельян Ильич, выпьем для праздника. Хочешь выпить? оно здорово.

Протянул было он руку, этак жадно протянул, уж взял было, да и остановился; подождал маленько; смотрю: взял, несет ко рту, плескает у него вино на рукав. Нет, донес ко рту, да тотчас и поставил на стол.

— Что ж, Емельянушка?

— Да нет; я того... Астафий Иваныч.

— Не выпьешь, что ли?

— Да я, Астафий Иваныч, так уж... не буду больше пить, Астафий Иваныч.

— Что ж, ты совсем перестать собрался, Емельюшка, или только сегодня не будешь?

Промолчал. Смотрю: через минуту положил на руку голову.

— Что ты, уж не заболел ли, Емелья?

— Да так, нездоровится, Астафий Иваныч.

Взял я его и положил на постель. Смотрю, и вправду худо: голова горит, а самого трясет лихорадкой. Посидел я день над ним; к ночи хуже. Я ему квасу с маслом и с луком смешал, хлеба подсыпал. Ну, говорю: тюрн покушай, авось будет лучше! Мотает головой. «Нет, говорит, я уж сегодня обедать не буду, Астафий Иваныч». Чаю ему приготовил, старушонку заматал совсем, — нет ничего лучше. Ну, думаю, плохо! Пошел я на третье утро к врачу. У меня тут медик Костоправов знакомый жил. Еще прежде, когда я у Босомяжных господ находился, познакомился; лечил он меня. Пришел медик, посмотрел. «Да нет, говорит, оно плохо. Нечего было, говорит, и посылать за мной. А, пожалуй, дать ему порошок». Ну, порошок-то я не дал; так, думаю, балуется медик; а между тем наступил пятый день.

Лежал он, сударь, передо мной, кончался. Я сидел на окне, работу в руках держал. Старушоночка печку топилла. Все молчим. У меня, сударь, сердце по нем, забулдыге, разрывается, точно это я сына родного хороню. Знаю, что Емеля теперь на меня смотрит, еще с утра видел, что крепится человек, сказать что-то хочет, да, как видно, не смеет. Наконец, взглянул на него; вижу, тоска такая в глазах у бедняги, с меня глаз не сводит; а увидал, что я гляжу на него, тотчас потупился.

— Астафий Иваныч!

— Что, Емельюшка?

— А вот если б, примером, мою шинелёночку в Толкучий снести, так много ль за нее дали бы, Астафий Иваныч?

— Ну, говорю, неведомо, много ли дали бы. Может, и трехрублевый бы дали, Емельян Ильич.

А поди-ка понес в самом деле, так и ничего бы не дали, кроме того что насмеялись бы тебе в глаза, что такую злосчастную вещь продаешь. — Так только ему, человеку божию, зная норы его простоватый, в утеху сказал.

— А я-то думал, Астафий Иваныч, что три рубля серебром за нее положили бы; она вещь суконная, Астафий Иваныч. Как же трехрублевый, коли суконная вещь?

— Не знаю, говорю, Емельян Ильич; коль нести хочешь, так, конечно, три рубля нужно будет с первого слова просить.

Помолчал немного Емеля; потом опять окликает:

— Астафий Иваныч!

— Что, спрашиваю, Емельяпушка?

— Вы продайте шинелёночку-то, как я помру, а меля в ней не хороните. Я и так полежу; а она вещь ценная; вам пригодиться может.

Тут у меня так, сударь, защемило сердце, что и сказать нельзя. Вижу, что тоска предсмертная к человеку подступает. Опять замолчали. Этак час прошло времени. Посмотрел я на него сызнова: все на меня смотрит, а как встретился взглядом со мной, опять потупился.

— Не хотите ли, говорю, водицы испить, Емельян Ильич?

А КР...
40700

— Дайте, господь с вами, Астафий Иванович.

Подал я ему испить. Отпил.

— Благодарствую, говорит, Астафий Иванович.

— Не надо ль еще чего, Емельянушка?

— Нет, Астафий Иванович, ничего не надо; а я того...

— Что?

— Эного...

— Чего такого, Емелюшка?

— Ретузы-то... эного... это я их взял у вас тогда...

Астафий Иванович...

— Ну, господь, говорю, тебя простит, Емельянушка, горемыка ты такой, сякой, этакой! отходи с миром... —

А у самого, сударь, дух захватило, и слезы из глаз носыпались; отвернулся было я на минуту.

— Астафий Иванович...

Смотрю: хочет Емеля мне что-то сказать; сам приподнимается, силится, губами шевелит... Весь вдруг покраснел, смотрит на меня... Вдруг вижу: опять бледнеет, бледнеет, опал совсем во мгновение; голову назад закинул, дохнул раз, да тут и богу душу отдал . . .

ЕЛКА И СВАДЬБА

Из записок неизвестного

На днях я видел свадьбу... но нет! Лучше я вам расскажу про елку. Свадьба хороша; она мне очень понравилась, по другое происшествие лучше. Не знаю, каким образом, смотря на эту свадьбу, я вспомнил про эту елку. Это вот как случилось. Ровно лет пять назад, накануне Нового года, меня пригласили на детский бал. Лицо приглашавшее было одно известное деловое лицо, со связями, с знакомством, с интригами, так что можно было подумать, что детский бал этот был предлогом для родителей сойтись в кучу и потолковать об иных интересных материях невинным, случайным, нечаянным образом. Я был человек посторонний; материй у меня не было никаких, и потому я провел вечер довольно независимо. Тут был и еще один господин, у которого, кажется, не было ни роду ни племени, но который, подобно мне, попал на семейное счастье... Он прежде всех бросился мне на глаза. Это был высокий, худощавый мужчина, весьма серьезный, весьма прилично одетый. Но видно было, что ему вовсе не до радостей и семейного счастья; когда он отходил куда-нибудь в угол, то сейчас же переставал улыбаться и хмурил свои густые черные брови. Знакомых, кроме хозяина, на всем бале у него не было ни единой души. Видно было, что ему страх скучно, но что он выдерживал храбро, до конца, роль совершенно развлеченного и счастливого человека. Я после узнал, что это один

господни из провинции, у которого было какое-то решительное, головоломное дело в столице, который привез нашему хозяину рекомендательное письмо, которому хозяин наш покровительствовал вовсе не со злого¹ и которого пригласил из учтивости на свой детский бал. В карты не играли, сигары ему не предложили, в разговоры с ним никто не пускался, может быть издали узнав птицу по перьям, и потому мой господин принужден был, чтоб только куда-нибудь девать руки, весь вечер гладить свои бакенбарды. Бакенбарды были действительно весьма хороши. Но он гладил их до того усердно, что, глядя на него, решительно можно было подумать, что сперва произведены на свет одни бакенбарды, а потом уж приставлен к ним господин, чтобы их гладить.

Кроме этой фигуры, таким образом принимавшей участие в семейном счастье хозяина, у которого было пятеро сытенных мальчиков, понравился мне еще один господин. Но этот уже был совершенно другого свойства. Это было лицо. Звали его Юлиан Мастакович. С первого взгляда можно было видеть, что он был гостем почетным и находился в таких же отношениях к хозяину, в каких хозяин к господину, гладившему свои бакенбарды. Хозяин и хозяйка говорили ему бездну любезностей, ухаживали, поили его, лелеяли, подводили к нему для рекомендации своих гостей, а его самого ни к кому не подводили. Я заметил, что у хозяйки заискрилась слеза на глазах, когда Юлиан Мастакович отнесся по вечеру, что он редко проводит таким приятным образом время. Мне как-то стало страшно в присутствии такого лица, и потому, полюбившись на детей, я ушел в маленькую гостиную, которая была совершенно пуста, и засел в цветочную беседку хозяйки, занимавшую почти половину всей комнаты.

Дети все были до невероятности милы и решительно не хотели походить на *больших*, несмотря на все увещания гувернанток и маменок. Они разобрали всю елку вмиг, до последней конфетки, и успели уже переломать половину игрушек, прежде чем узнали, кому какая назначена. Особенно хорош был мальчик,

¹ с любовью (итал.).

черноглазый, в кудряшках, который все хотел меня застрелить из своего деревянного ружья. Но всех более обратила на себя внимание его сестра, девочка лет одиннадцати, прелестная, как амурчик, тихонькая, задумчивая, бледная, с большими задумчивыми глазами навывкате. Ее как-то обидели дети, и потому она ушла в ту самую гостиную, где сидел я, и занялась в уголку — с своей куклой. Гости с уваженным указывали на одного богатого откупщика, ее родителя, и кое-кто замечал шепотом, что за ней уже отложено на приданое триста тысяч рублей. Я оборотился взглянуть на любопытствующих о таком обстоятельстве, и взгляд мой упал на Юлиана Мастаковича, который, закинув руки за спину и наклонив немножечко голову набок, как-то чрезвычайно внимательно прислушивался к празднословию этих господ. Потом я не мог не подивиться мудрости хозяев при раздаче детских подарков. Девочка, уже имевшая триста тысяч рублей приданого, получила богатейшую куклу. Потом следовали подарки понижаясь, смотря по понижению рангов родителей всех этих счастливых детей. Наконец, последний ребенок, мальчик лет десяти, худенький, маленький, весноватенький, рыженький, получил только одну книжку повестей, толковавших о величии природы, о слезах умиленья и прочее, без картинок и даже без вышметки. Он был сын гувернантки хозяйских детей, одной бедной вдовы, мальчик крайне забитый и запуганный. Одет он был в курточку из убогой панки. Получив свою книжку, он долгое время ходил около других игрушек; ему ужасно хотелось поиграть с другими детьми, но он не смел; видно было, что он уже чувствовал и понимал свое положение. Я очень люблю наблюдать за детьми. Чрезвычайно любопытно в них первое самостоятельное проявление в жизни. Я заметил, что рыженький мальчик до того соблазнился богатыми игрушками других детей, особенно театром, в котором ему непременно хотелось взять на себя какую-то роль, что решился поподличать. Он улыбался и заигрывал с другими детьми, он отдал свое яблоко одному одутловатому мальчишке, у которого навязан был полный платок гостинцев, и даже решился повозить одного на себе, чтоб только не ото-

гнали его от театра. Но чрез минуту какой-то озорник препорядочно поколотил его. Ребенок не посмел заплакать. Тут явилась гувернантка, его маменька, и велела ему не мешать играть другим детям. Ребенок вошел в ту же гостиную, где была девочка. Она пустила его к себе, и оба весьма усердно принялись наряжать богатую куклу.

Я сидел уже с полчаса в плюшовой беседке и почти задремал, прислушиваясь к маленькому говору рыженького мальчика и красавицы с тремястами тысяч приданого, хлопотавших о кукле, как вдруг в комнату вошел Юлиан Мастакович. Он воспользовался скандалёзною сценою ссоры детей и вышел потихоньку из залы. Я заметил, что он с минуту назад весьма горячо говорил с папенькой будущей богатой невесты, с которым только что познакомился, о преимуществе какой-то службы перед другою. Теперь он стоял в раздумье и как будто что-то рассчитывал по пальцам.

— Триста... триста, — шептал он. — Одиннадцать... двенадцать... тринадцать и так далее. Шестнадцать — пять лет! Положим по четыре на сто — 12, пять раз = 60, да на эти 60... ну, положим, всего будет через пять лет — четыреста. Да! вот... Да не по четыре со ста же держит, мошенник! Может, восемь аль десять со ста берет. Ну, пятьсот, положим пятьсот тысяч, по крайней мере это наверно; ну, излишек на тряпки, гм...

Он кончил раздумье, высморкался и хотел уже выйти из комнаты, как вдруг взглянул на девочку и остановился. Он меня не видал за горшками с зеленью. Мне казалось, что он был крайне взволнован. Или расчет подействовал на него, или что-нибудь другое, но он потирал себе руки и не мог постоять на месте. Это волнение увеличилось до *pes plus ultra*¹, когда он остановился и бросил другой решительный взгляд на будущую невесту. Он было двинулся вперед, но сначала огляделся кругом. Потом на цыпочках, как будто чувствуя себя виноватым, стал подходить к ребенку. Он подошел с улыбочкой, нагнулся и поцеловал ее в голову. Та, не ожидая нападения, вскрикнула от испуга.

¹ до крайних пределов (лат.).

— А что вы тут делаете, милое дитя? — спросил он шепотом, оглядываясь и трепля девочку по щеке.

— Играем...

— А? с ним? — Юлиан Мастакович покосился на мальчика.

— А ты бы, душенька, пошел в залу, — сказал он ему.

Мальчик молчал и глядел на него во все глаза. Юлиан Мастакович опять осмотрелся кругом и опять нагнулся к девочке.

— А что это у вас, куколка, милое дитя? — спросил он.

— Куколка, — отвечала девочка, морщась и немножко робея.

— Куколка... А знаете ли вы, милое дитя, из чего ваша куколка сделана?

— Не знаю... — отвечала девочка шепотом и совершенно потупив голову.

— А из тряпочек, душенька. Ты бы пошел, мальчик, в залу, к своим сверстникам, — сказал Юлиан Мастакович, строго посмотрев на ребенка. Девочка и мальчик поморщились и схватились друг за друга. Им не хотелось разлучаться.

— А знаете ли вы, почему подарили вам эту куколку? — спросил Юлиан Мастакович, понижая все более и более голос.

— Не знаю.

— А оттого, что вы были милое и благонравное дитя всю неделю.

Тут Юлиан Мастакович, взволнованный донельзя, осмотрелся кругом и, понижая все более и более голос, спросил, наконец, неслышным, почти совсем замирающим от волнения и нетерпения голосом:

— А будете ли вы любить меня, милая девочка, когда я приеду в гости к вашим родителям?

Сказав это, Юлиан Мастакович хотел еще один раз поцеловать милую девочку, но рыженький мальчик, видя, что она совсем хочет заплакать, схватил ее за руки и захныкал от полнейшего сочувствия к ней. Юлиан Мастакович рассердился не в шутку.

— Пошел, пошел отсюда, пошел! — говорил он мальчишке. — Пошел в залу! пошел туда, к своим сверстникам!

— Нет, не нужно, не нужно! пойдите вы прочь, — сказала девочка, — оставьте его, оставьте его! — говорила она, почти совсем заплакав.

Кто-то зашумел в дверях, Юлиан Мастакович тотчас же приподнял свой величественный корпус и испугался. Но рыженький мальчик испугался еще более Юлиана Мастаковича, бросил девочку и тихонько, опираясь о стенку, прошел из гостиной в столовую. Чтоб не подать подозрений, Юлиан Мастакович пошел также в столовую. Он был красен как рак и, взглянув в зеркало, как будто сконфузился себя самого. Ему, может быть, стало досадно за горячку свою и свое истерпение. Может быть, его так поразил вначале расчет по пальцам, так соблазнил и вдохловил, что он, несмотря на всю солидность и важность, решился поступить, как мальчишка, и прямо абордировать свой предмет, несмотря на то, что предмет мог быть настоящим предметом по крайней мере пять лет спустя. Я вышел за почтенным господином в столовую и увидел странное зрелище. Юлиан Мастакович, весь покраснев от досады и злости, пугал рыжего мальчика, который, уходя от него все дальше и дальше, не знал, куда забежать от страха.

— Пошел, что здесь делаешь, пошел, негодник, пошел! Ты здесь фрукты таскаешь, а? Ты здесь фрукты таскаешь? Пошел, негодник, пошел, сопливый, пошел, пошел к своим сверстникам!

Перепуганный мальчик, решившись на отчаянное средство, попробовал было залезть под стол. Тогда его гонитель, разгоряченный донельзя, вынул свой длинный батистовый платок и начал им выхлестывать из-под стола ребенка, присмиревшего до последней степени. Нужно заметить, что Юлиан Мастакович был немножко толстенок. Это был человек сытенький, румяненький, плотненький, с брюшком, с жирными ляжками, словом, что называется, крепняк, кругленький, как орешек. Он вспотел, пыхтел и краснел ужасно. Наконец, он почти остервенился, так велико было в нем чувство негодования и, может быть (кто знает?), ревности. Я захохотал во все горло. Юлиан Мастакович оборотился и, несмотря на все значение свое, сконфузился в прах. В это время из противоположной двери вошел хозяин. Мальчишка вылез из-под стола и обти-

рал свои колени и локти. Юлиан Мастакович поспешил поднести к носу платок, который держал за один кончик в руках.

Хозяин немножко с недоумением посмотрел на троих нас, но, как человек, знающий жизнь и смотрящий на нее с точки серьезной, тотчас же воспользовался тем, что поймал наедине своего гостя.

— Вот-с тот мальчик-с, — сказал он, указав на рыженького, — о котором я имел честь просить...

— А? — отвечал Юлиан Мастакович, еще не совсем оправившись.

— Сын гувернантки детей моих, — продолжал хозяин просительным тоном, — бедная женщина, вдова, жена одного честного чиновника; и потому... Юлиан Мастакович, если возможно...

— Ах, нет, нет, — поспешно закричал Юлиан Мастакович, — нет, извините меня, Филипп Алексеевич, никак невозможно-с. Я справлялся, вакансии нет, а если бы и была, то на нее уже десять кандидатов, гораздо более имеющих право, чем он... Очень жаль, очень жаль.

— Жаль-с, — повторил хозяин, — мальчик скромненький, тихонький...

— Шалун большой, как я замечаю, — отвечал Юлиан Мастакович, истерически скривив рот, — пошел, мальчик, что ты стоишь, пойди к своим сверстникам! — сказал он, обращаясь к ребенку.

Тут он, кажется, не мог утерпеть и взглянул на меня одним глазом. Я тоже не мог утерпеть и захохотал ему прямо в глаза. Юлиан Мастакович тотчас же отворотился и довольно явственно для меня спросил у хозяина, кто этот странный молодой человек? Они зашептались и вышли из комнаты. Я видел потом, как Юлиан Мастакович, слушая хозяина, с недоверчивостно качал головою.

Надохотавшись вдоволь, я воротился в залу. Там великий муж, окруженный отцами и матерями семейств, хозяйкой и хозяином, что-то с жаром толковал одной даме, к которой его только что подвели. Дама держала за руку девочку, с которою десять минут назад Юлиан Мастакович имел сцену в гостиной. Теперь он рассыпался в похвалах и восторгах о красоте, талантах, грации и благовоспитанности милого дитяти.

— Нет, не нужно, не нужно! пойдите вы прочь, — сказала девочка, — оставьте его, оставьте его! — говорила она, почти совсем заплавав.

Кто-то зашумел в дверях, Юлиан Мастакович тотчас же приподнял свой величественный корпус и испугался. Но рыженький мальчик испугался еще более Юлиана Мастаковича, бросил девочку и тихонько, опираясь о стенку, прошел из гостиной в столовую. Чтобы не подать подозрений, Юлиан Мастакович пошел также в столовую. Он был красив как рак и, взглянув в зеркало, как будто сконфузился себя самого. Ему, может быть, стало досадно за горячку свою и свое нетерпение. Может быть, его так поразили вначале расчет по пальцам, так соблазнил и вдохновил, что он, несмотря на всю солидность и важность, решился поступить, как мальчишка, и прямо абординировать свой предмет, несмотря на то, что предмет мог быть настоящим предметом по крайней мере пять лет спустя. Я вышел за ночным господином в столовую и увидел странное зрелище. Юлиан Мастакович, весь покраснев от досады и злости, пугал рыжего мальчика, который, уходя от него все дальше и дальше, не знал, куда забежать от страха.

— Пошел, что здесь делаешь, пошел, негодник, пошел! Ты здесь фрукты таскаешь, а? Ты здесь фрукты таскаешь? Пошел, негодник, пошел, сопливый, пошел, пошел к своим сверстникам!

Перепуганный мальчик, решившись на отчаянное средство, попробовал было залезть под стол. Тогда его гонитель, разгоряченный донельзя, вынул свой длинный батистовый платок и начал им выхлестывать из-под стола ребенка, присмирившего до последней степени. Нужно заметить, что Юлиан Мастакович был немножко толстенок. Это был человек сытенький, румяненеккий, плотненький, с брюшком, с жирными ляжками, словом, что называется, крепняк, кругленький, как орешек. Он вспотел, пыхтел и краснел ужасно. Наконец, он почти остервенился, так велико было в нем чувство негодования и, может быть (кто знает?), ревности. Я захохотал во все горло. Юлиан Мастакович оборотился и, несмотря на все значение свое, сконфузился в прах. В это время из противоположной двери вошел хозяин. Мальчишка вылез из-под стола и обти-

рал свои колени и локти. Юлиан Мастакович поспешил поднести к полу платок, который держал за один из кончик в руках.

Хозяин немножко с недоумением посмотрел на трюх пас, но, как человек, знающий жизнь и смотрящий на нее с точки серьезной, тотчас же воспользовался этим, что поймал наедине своего гостя.

— Вот-с тот мальчик-с, — сказал он, указав на рыженького, — о котором я имел честь просить...

— А? — отвечал Юлиан Мастакович, еще не совсем оправившись.

— Сын гувернантки детей моих, — продолжал хозяин просительным тоном, — бедная женщина, вдова, жена одного честного чиновника; и потому... Юлиан Мастакович, если возможно...

— Ах, нет, нет, — поспешно закричал Юлиан Мастакович, — нет, извините меня, Филипп Алексеевич, никак невозможно-с. Я справлялся, вакансии нет, а если бы и была, то на нее уже десять кандидатов, гораздо более имеющих право, чем он... Очень жаль, очень жаль.

— Жаль-с, — повторил хозяин, — мальчик скромненький, тихонький...

— Шалун большой, как я замечаю, — отвечал Юлиан Мастакович, истерически скривив рот, — пошел, мальчик, что ты стоишь, пойдн к своим сверстникам е! — сказал он, обращаясь к ребенку.

Тут он, кажется, не мог утерпеть и взглянул на меня одним глазом. Я тоже не мог утерпеть и захотел ему прямо в глаза. Юлиан Мастакович тотчас же отворотился и довольно явственно для меня спросил у хозяина, кто этот странный молодой человек? Они зашептались и вышли из комнаты. Я видел потом, как Юлиан Мастакович, слушая хозяина, с недоверчиво-стию качал головою.

Нахохотавшись вдоволь, я воротился в залу. Там великий муж, окруженный отцами и матерями семейств, хозяйкой и хозяином, что-то с жаром толковал одной даме, к которой его только что подвели. Дама держала за руку девочку, с которою десять минут назад Юлиан Мастакович имел сцену в гостиной. Теперь он рассыпался в похвалах и восторгах о красоте, талантах, грации и благовоспитанности милого дитяяти.

— Нет, не нужно, не нужно! пойдите вы прочь, — сказала девочка, — оставьте его, оставьте его! — говорила она, почти совсем заплавав.

Кто-то зашумел в дверях, Юлиан Мастакович тотчас же приподнял свой величественный корпус и испугался. Но рыженький мальчик испугался еще более Юлиана Мастаковича, бросил девочку и тихонько, опираясь о стенку, прошел из гостиной в столовую. Чтобы не подать подозрений, Юлиан Мастакович пошел также в столовую. Он был красен как рак и, взглянув в зеркало, как будто сконфузился себя самого. Ему, может быть, стало досадно за горячку свою и свое нетерпение. Может быть, его так поразил вначале расчет по пальцам, так соблазнил и вдохновил, что он, несмотря на всю солидность и важность, решился поступить, как мальчишка, и прямо абординировать свой предмет, несмотря на то, что предмет мог быть настоящим предметом по крайней мере пять лет спустя. Я вышел за почтенным господином в столовую и увидел странное зрелище. Юлиан Мастакович, весь покраснев от досады и злости, пугал рыжего мальчишка, который, уходя от него все дальше и дальше, не знал, куда забежать от страха.

— Пошел, что здесь делаешь, пошел, негодник, пошел! Ты здесь фрукты таскаешь, а? Ты здесь фрукты таскаешь? Пошел, негодник, пошел, сопливый, пошел, пошел к своим сверстникам!

Перепуганный мальчик, решившись на отчаянное средство, попробовал было залезть под стол. Тогда его гонитель, разгоряченный допелезя, вынул свой длинный батистовый платок и начал им выхлестывать из-под стола ребенка, присмиревшего до последней степени. Нужно заметить, что Юлиан Мастакович был немножко толстенок. Это был человек сытенький, румянянький, плотненький, с брюшком, с жирными ляжками, словом, что называется, крепняк, кругленький, как орешек. Он вспотел, пыхтел и краснел ужасно. Наконец, он почти остервенился, так велико было в нем чувство негодования и, может быть (кто знает?), ревности. Я захохотал во все горло. Юлиан Мастакович оборотился и, несмотря на все значение свое, сконфузился в прах. В это время из противоположной двери вошел хозяин. Мальчишка вылез из-под стола и обни-

рал свои колени и локти. Юлиан Мастакович поспешил поднести к носу платок, который держал за один кончик в руках.

Хозяин немножко с недоумением посмотрел на троих нас, но, как человек, знающий жизнь и смотрящий на нее с точки серьезной, тотчас же воспользовался тем, что поймал наедине своего гостя.

— Вот-с тот мальчик-с, — сказал он, указав на рыженького, — о котором я имел честь просить...

— А? — отвечал Юлиан Мастакович, еще не совсем оправившись.

— Сын гувернантки детей монах, — продолжал хозяин просительным тоном, — бедная женщина, вдова, жена одного честного чиновника; и потому... Юлиан Мастакович, если возможно...

— Ах, нет, нет, — поспешно закричал Юлиан Мастакович, — нет, извините меня, Филипп Алексеевич, никак невозможно-с. Я справлялся, вакансии нет, а если бы и была, то на нее уже десять кандидатов, гораздо более имеющих право, чем он... Очень жаль, очень жаль.

— Жаль-с, — повторил хозяин, — мальчик скромненький, тихонький...

— Шалун большой, как я замечаю, — отвечал Юлиан Мастакович, истерически скривив рот, — пошел, мальчик, что ты стоишь, пойдя к своим сверстникам! — сказал он, обращаясь к ребенку.

Тут он, кажется, не мог утерпеть и взглянул на меня одним глазом. Я тоже не мог утерпеть и захохотал ему прямо в глаза. Юлиан Мастакович тотчас же отворотился и довольно явственно для меня спросил у хозяина, кто этот странный молодой человек? Они зашептались и вышли из комнаты. Я видел потом, как Юлиан Мастакович, слушая хозяина, с недоверчивостию качал головою.

Нахохотавшись вдоволь, я воротился в залу. Там великий муж, окруженный отцами и матерями семейств, хозяйкой и хозяином, что-то с жаром толковал одной даме, к которой его только что подвели. Дама держала за руку девочку, с которою десять минут назад Юлиан Мастакович имел сцену в гостиной. Теперь он рассыпался в похвалах и восторгах о красоте, талантах, грации и благовоспитанности милого дитяти.

Он заметно юлил перед маменькой. Мать слушала его чуть ли не со слезами восторга. Губы отца улыбались. Хозяин радовался излиянию всеобщей радости. Даже все гости сочувствовали, даже игры детей были оставлены, чтоб не мешать разговору. Весь воздух был напоен благоговением. Я слышал потом, как тронутая до глубины сердца маменька интересной девочкой в отборных выражениях просила Юлиана Мастаковича сделать ей особую честь, подарить их дом своим драгоценным знакомством, слышал, с каким неподдельным восторгом Юлиан Мастакович принял приглашение и как потом гости, разойдясь все, как приличное требовало, в разные стороны, рассыпались друг перед другом в умиленные похвалы откупщику, откупщице, девочке и в особенности Юлиану Мастаковичу.

— Женат этот господин? — спросил я, почти вслух, одного из знакомых моих, стоявшего ближе всех к Юлиану Мастаковичу.

Юлиан Мастакович бросил на меня испытующий и злобный взгляд.

— Нет! — отвечал мне мой знакомый, огорченный до глубины сердца моею ислонкостью, которую я сделал умышленно...

Недавно я проходил мимо ***ской церкви; толпа на съезд поразила меня. Кругом говорили о свадьбе. День был пасмурный, начиналась изморозь; я пробрался за толпою в церковь и увидел жениха. Это был маленький, кругленький, сытенный человечек с брюшком, весьма разукрашенный. Он бегал, хлопотал и распоряжался. Наконец, раздался говор, что привезли невесту. Я протеснился сквозь толпу и увидел чудную красавицу, для которой едва настала первая весна. Но красавица была бледна и грустна. Она смотрела рассеянно; мне показалось даже, что глаза ее были красны от недавних слез. Античная строгость каждой черты лица ее придавала какую-то важность и торжественность ее красоте. Но сквозь эту строгость и важность, сквозь эту грусть просвечивал еще первый детский, невинный облик; сказывалось что-то донельзя наивное, не-

установившееся, юное и, казалось, без просьб само за себя молившее о пощаде.

Говорили, что ей едва минуло шестнадцать лет. Взглянув внимательно на жениха, я вдруг узнал в нем Юлиана Мастаковича, которого не видал ровно пять лет. Я поглядел на нее... Боже мой! Я стал протесняться скорее из церкви. В толпе толковали, что невеста богата, что у невесты пятьсот тысяч приданого... и на сколько-то тряпками...

«Однако расчет был хорош!» — подумал я, протеснившись на улицу...

ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ

Происшествие необыкновенное

I

— Сделайте одолжение, милостивый государь, позвольте вас спросить...

Прохожий вздрогнул и несколько в испуге взглянул на господина в енотах, приступившего к нему так без обиняков, в восьмом часу вечера, среди улицы. А уж известно, что если один петербургский господин вдруг заговорит на улице о чем-нибудь с другим, совершенно незнакомым ему господином, то другой господин непременно испугается.

Итак, прохожий вздрогнул и несколько испугался.

— Извините, что я вас потревожил, — говорил господин в енотах, — но я... я, право, не знаю... вы, вероятно, извините меня; вы видите, я в некотором расстройстве духа...

Тут только заметил молодой человек в бекеше, что господин в енотах был, точно, в расстройстве. Его сморщенное лицо было довольно бледненько, голос его дрожал, мысли, очевидно, сбивались, слова не лезли с языка, и видно было, что ему ужасного труда стоило согласить покорнейшую просьбу, может быть к своему низшему в отношении степени или сословия лицу, с нуждою непременно обратиться к кому-нибудь с просьбой. Да и, наконец, просьба эта во всяком случае была неприличная, несолидная, странная со стороны человека, имевшего такую солидную шубу, такой почтен-

ный, превосходного темно-зеленого цвета фрак и такие многозначительные украшения, упещрявшие этот фрак. Видно было, что все это смущало самого господина в снотах, так что, наконец, расстроенный духом, господин не выдержал, решился подавить свое волнение и прилично замаять неприятную сцену, которую сам же вызвал.

— Извините меня, я не в себе; но вы, правда, меня не знаете... Извините, что обеспокоил вас; я раздумал.

Тут он приподнял из учтивости шляпу и побежал далее.

— Но позвольте, сделайте милость.

Маленький человек, однако, скрылся во мраке, оставив в остолбенелом состоянии господина в бекеше.

«Что за чудак!» — подумал господин в бекеше. Потом, как следует подивившись и вышед, наконец, из остолбенелого состояния, он вспомнил про свое и начал прохаживаться взад и вперед, пристально глядя на ворота одного бесконечно-этажного дома. Начиная падать туман, и молодой человек несколько обрадовался, ибо прогулка его при тумане была незаметнее, хотя, впрочем, только какой-нибудь безнадежно весь день простоявший извозчик мог заметить ее.

— Извините!

Прохожий опять вздрогнул: опять тот же господин в снотах стоял перед ним.

— Извините, что я опять... — заговорил он, — но вы, вы — верно, благородный человек! Не обращайтесь на меня внимания, как на лицо, взятое в общественном смысле; я, впрочем, сбиваюсь; но вникните, по-человечески... перед вами, сударь, человек, нуждающийся в покорнейшей просьбе...

— Если могу... что вам угодно?

— Вы, может, подумали, что уж я у вас денег прошу! — сказал таинственный господин, кривя рот, истерически смеясь и бледнея.

— Помилуйте-с...

— Нет, я вижу, что я вам в тягость! Извините, я не могу переносить себя; считайте, что вы видите меня в расстроенном состоянии духа, почти в сумасшествии, и не заключите чего-нибудь...

— Но к делу, к делу! — отвечал молодой человек, ободрительно и нетерпеливо кивнув головой.

— А! Теперь вот как! Вы, такой молодой человек, мне напоминаете о деле, как будто я какой нерадивый мальчишка! Я решительно выжил из ума!.. Как я вам кажусь теперь в моем унижении, скажите откровенно?

Молодой человек сконфузился и смолчал.

— Позвольте вас спросить откровенно: не видали ль вы одной дамы? В этом вся просьба моя! — решительно проговорил, наконец, господин в енотовой шубе.

— Дамы?

— Да-с, одной дамы.

— Я видел... но их, признаюсь, так прошло много...

— Так точно-с, — отвечал таинственный человек с горькой улыбкой. — Я сбиваюсь, я не то хотел спросить, извините меня; я хотел сказать, не видали ль вы одной госпожи в лиловом салопе, в темном бархатном капоре с черной вуалью?

— Нет, такой не видал... нет, кажется, не заметил.

— А! в таком случае извините-с!

Молодой человек хотел что-то спросить, но господин в енотах опять исчез, опять оставив в ошолобленном состоянии своего терпеливого слушателя. «А черт бы его взял!» — подумал молодой человек в бекеше, очевидно расстроенный.

Он с досадою закрылся бобром и опять стал прохаживаться, соблюдая предосторожности, мимо ворот бесконечно-этажного дома. Он заплелся.

«Что ж она не выходит? — думал он. — Скоро восемь часов!»

На башне пробило восемь часов.

— Ах! черт вас возьми, наконец!

— Извините-с!..

— Извините меня, что я вас так... Но вы так подкапались мне под ноги, что испугали совсем, — проговорил прохожий, морщась и извиняясь.

— Я опять к вам-с. Конечно, я вам должен казаться беспокойным и странным-с.

— Сделайте одолжение, без пустяков, объяснитесь скорее; я еще не знаю, в чем ваше желание?..

— Вы торопитесь? Видите ли-с. Я вам все расскажу откровенно, без лишних слов. Что ж делать! Обстоятельства связывают иногда людей совершенно разнородных характеров... Но я вижу, вы нетерпеливы, молодой

человек... Так вот-с... впрочем, я не знаю, как и говорить: я ишу даму-с (я уж решился все говорить). Я именно должен знать, куда пошла эта дама? Кто она — я думаю, вам не нужно знать ее имени, молодой человек.

— Ну-с, ну-с, дальше.

— Дальше! по ваш тон со мной! Извините, может быть, я вас оскорбил, назвав вас молодым человеком, но я не имел ничего... одним словом, если вам угодно оказать мне величайшую услугу, так вот-с, одна дама-с, то есть я хочу сказать порядочная женщина, из превосходного семейства, моих знакомых... мне поручено... я, видите ли, сам не имею семейства...

— Ну-с.

— Вникните в мое положение, молодой человек (ах, опять! извините-с; я все называю вас молодым человеком). Каждая минута дорога... Представьте себе, эта дама... но не можете ли вы мне сказать, кто живет в этом доме?

— Да... тут много живут.

— Да, то есть вы совершенно справедливы, — отвечал господин в епотах, слегка засмеявшись для спасения приличий, — чувствую, я немного сбиваюсь... но к чему такой тон ваших слов? Вы видите, что я чистосердечно сознаюсь в том, что сбиваюсь, и если вы надменный человек, то уж вы достаточно видели мое унижение... Я говорю, одна дама, благородного поведения, то есть легкого содержания, — извините, я так сбиваюсь, точно про литературу какую говорю; вот — выдумали, что Поль-де-Кок легкого содержания, а вся беда от Поль-де-Кока-то-с... вот!..

Молодой человек с сожалением посмотрел на господина в епотах, который, казалось, окончательно сбился, замолчал, глядел на него, бессмысленно улыбаясь, и дрожащею рукою, без всякой видимой причины, хватал его за лацкан бекешки.

— Вы спрашиваете, кто здесь живет? — спросил молодой человек, несколько отступая назад.

— Да, многие живут, вы сказали.

— Здесь... я знаю, что здесь Софья Остафьевна тоже живет, — проговорил молодой человек шепотом и даже с каким-то соболезнованием.

— Ну, вот видите, видите! Вы что-нибудь знаете, молодой человек?

— Уверю вас, нет, ничего не знаю... Я судил по расстроенному вашему виду.

— Я тотчас узнал от кухарки, что она сюда ходит; но вы не на то папали, то есть не к Софье Остафьевне... она с ней незнакома...

— Нет? ну, извините-с...

— Видно, что вам это все неинтересно, молодой человек, — проговорил странный господин с горькой иронией.

— Послушайте, — сказал молодой человек, заминнаясь, — я, в сущности, не знаю причины вашего состояния, но вам, верно, изменили, вы скажите прямо?

Молодой человек одобрительно улыбнулся.

— Мы по крайней мере пойдем друг друга, — прибавил он, и все тело его великодушно обнаружилось желанье сделать легкий полупоклон.

— Вы убили меня! но — откровенно признаюсь вам — именно так... но с кем не случается!.. До глубины тронут вашим участием. Согласитесь, между молодыми людьми... Я хоть не молод, но, знаете, привычка, холостая жизнь, между холостяком, известно...

— Ну, уж известно, известно! Но чем же я могу вам помочь?

— А вот-с; согласитесь, что посещать Софью Остафьевну... Впрочем, я еще не знаю наверно, куда пошла эта дама; я знаю только, что она в этом доме; но, видя вас прогуливающимся, — а я сам прогуливался по той стороне — думаю... я вот, видите ли, жду эту даму... я знаю, что она тут — мне бы хотелось встретить ее и объяснить, как неприлично и гнусно... одним словом, вы меня понимаете...

— Гм! Ну!

— Я и не для себя это делаю; вы не подумайте — это чужая жена! Муж там стоит, на Вознесенском мосту; он хочет поймать, но он не решается, — он еще не верит, как и всякий муж... (тут господин в епотах хотел улыбнуться), я — друг его; согласитесь сами, я человек, пользующийся некоторым уважением, — я не могу быть тем, за кого вы меня принимаете.

— Конечно-с; ну-с, ну-с!..

— Так вот, я все ее ловлю; мне поручено-с (несчастный муж!); но я знаю, это хитрая молодая дама (вечно Поль-де-Кок под подушкой); я уверен, что она прошемыгнет как-нибудь незаметно... Мне, признаюсь, ку-

харка сказала, что она ходит сюда; я как сумасшедший бросился, только что известие получил; я хочу поймать; я давно подозревал и потому хотел просить вас, вы здесь ходите... вы — вы — я не знаю...

— Ну, да, наконец, что ж вам угодно?

— Да-с... Не имею чести знать вас; не смею любопытствовать, кто и как... Во всяком случае, позвольте познакомиться; приятный случай!..

Дрожавший господин жарко потряс руку молодого человека.

— Это бы я должен был сделать в самом начале, — прибавил он, — но я забыл все приличие!

Говоря, господин в снотах не мог постоять на месте, с беспокойством оглядывался по сторонам, семенил по-гамн и поминутно, как погибающий, хватался рукою за молодого человека.

— Видите ли-с, — продолжал он, — я хотел обратиться к вам по-дружески... извините за вольность... хотел испросить у вас, чтоб вы ходили по той стороне и со стороны переулка, где черный выход, эдак, *покоем*, описывая букву *П*, то есть. Я тоже, с своей стороны, буду ходить-с у главного подъезда, так что мы не пропустим; а я все боялся один пропустить; я не хочу пропустить. Вы, как увидите ее, то остановите и закричите мне... Но я сумасшедший! Только теперь вижу всю глупость и неприличие моего предложения!

— Нет, что ж! помилуйте!..

— Не извиняйте меня; я в расстройстве духа, я теряюсь, как никогда не терялся! Точно меня под суд отдали! Я даже признаюсь вам — я буду благороден и откровенен с вами, молодой человек: я даже вас принял за любовника!

— То есть, попросту, вы хотите знать, что я здесь делаю?

— Благородный человек, милостивый государь, я далек от мысли, что вы *он*; я не замараю вас этою мыслию, но... но даете ли вы мне честное слово, что вы не любовник?..

— Ну, хорошо, извольте, честное слово, что любовник, но не вашей жены; иначе бы я не был на улице, а был бы теперь вместе с нею!

— Жены? кто вам сказал жены, молодой человек? Я холостой, я, то есть, сам любовник...

— Вы говорили, есть муж... на Вознесенском мосту...
— Конечно, конечно, я заговариваюсь; но есть другие узы! И согласитесь, молодой человек, некоторая легкость характеров, то есть...

— Ну, ну! Хорошо, хорошо!

— То есть я вовсе не муж...

— Очень верю-с. Но откровенно говорю вам, что, разуверив вас теперь, хочу сам себя успокоить и оттого, собственно, с вами и сткровсенен; вы меня расстроили и мешаете мне. Обещаю вам, что кликну вас. Но прошу вас покорнейше дать мне место и удалиться. Я сам тоже жду.

— Извольте, извольте-с, я удаляюсь, я уважаю страстное нетерпение вашего сердца. Я понимаю это, молодой человек. О, как я вас теперь понимаю!

— Хорошо, хорошо...

— До свидания!.. Впрочем, извините, молодой человек, я опять к вам... Я не знаю, как сказать... Дайте мне еще раз честное и благородное слово, что вы не любовник!

— Ах, господи, бог мой!

— Еще вопрос, последний: вы знаете фамилию мужа вашей... то есть той, которая составляет ваш предмет?

— Разумеется, знаю; не ваша фамилия, и конечно дело!

— А почему ж вы знаете мою фамилию?

— Да послушайте, ступайте; вы теряете время: она уйдет тысячу раз... Ну, что же вы? Ну, ваша в лисьем салопе и в капоре, а моя в клетчатом плаще и в голубой бархатной шляпке... Ну, что ж вам еще? чего ж больше?

— В голубой бархатной шляпке! У ней есть и клетчатый плащ, и голубая шляпка, — закричал неотвязчивый человек, мигом возвратившись с дороги.

— Ах, черт возьми! Ну, да ведь это может случиться... Да, впрочем, что ж я! Моя же туда не ходит!

— А где она — ваша?

— Вам это хочется знать; что ж вам?

— Признаюсь, я все про то...

— Фу, бог мой! Да вы без стыда без всякого! Ну, у моей здесь знакомые, в третьем этаже, на улице. Ну, что ж вам, по именам людей называть, что ли?

— Бог мой! И у меня есть знакомые в третьем этаже, и окна на улицу... Генерал...

— Генерал?!

— Генерал. Я вам, пожалуй, скажу, какой генерал: ну, генерал Половицын.

— Вот тебе на! Нет, это не те! (Ах, черт возьми! черт возьми!)

— Не те?

— Не те.

Оба молчали и в недоумении смотрели друг на друга.

— Ну, что ж вы так смотрите на меня? — вскрикнул молодой человек, с досадою отряхая с себя столбняк и раздумье.

Господни заметался.

— Я, я, признаюсь...

— Нет, уж позвольте, позвольте, теперь будемте говорить умнее. Общее дело. Объясните мне... Кто у вас там?..

— То есть знакомые?

— Да, знакомые...

— Вот видите, видите! Я по глазам вашим вижу, что я угадал!

— Черт возьми! да нет же, нет, черт возьми! слепы вы, что ли? ведь я перед вами стою, ведь я не с ней нахожусь; ну! ну же! Да, впрочем, мне все равно; хоть говорите, хоть нет!

Молодой человек в бешенстве повернулся два раза на каблуке и махнул рукой.

— Да я ничего, помилуйте, как благородный человек, я вам все расскажу: сначала жена сюда ходила одна; она им родня; я и не подозревал; вчера встречаю его превосходительство: говорит, что уж три недели как пересхал отсюда на другую квартиру, а же... то есть не жена, а чужая жена (на Вознесенском мосту), эта дама говорила, что еще третьего дня была у них, то есть на этой квартире. А кухарка-то мне рассказала, что квартиру его превосходительства снял молодой человек Бобыницын...

— Ах, черт возьми, черт возьми!

— Милостивый государь, я в страхе, я в ужасе!

— Э, черт возьми! да мне-то какое дело до того, что вы в страхе и в ужасе? Ах! вон-вон мелькнуло, вон...

— Где? где? вы только крикните: Иван Андренч, а я побегу...

— Хорошо, хорошо. Ах, черт возьми, черт возьми!
Иван Андренч!!

— Здесь, — закричал воротившийся Иван Андренч, совсем задыхаясь. — Ну, что? что? где?

— Нет, я только так... я хотел знать, как зовут эту даму?

— Глаф...

— Глафира?

— Нет, не совсем Глафира... извините, я вам не могу сказать ее имя. — Говоря это, почтенный человек был бледен, как платок.

— Да, конечно, не Глафира, я сам знаю, что не Глафира; и та не Глафира, а впрочем, с кем же она?

— Где?

— Там! Ах, черт возьми, черт возьми! (Молодой человек не мог устоять на месте от бешенства.)

— А, видите! почему же вы знали, что ее зовут Глафирой?

— Ну, черт возьми, наконец! еще с вами возня! Да педь вы говорите — вашу не Глафирой зовут!..

— Милостивый государь, какой тон!

— А, черт, не до тону! Что она, жена, что ли, ваша?

— Нет, то есть я не женат... Но не стал бы я сулить почтенному человеку в несчастье, человеку, — не скажу достойному всякого уважения, но по крайней мере воспитанному человеку, черта на каждом шагу. Вы все говорите: черт возьми! черт возьми!

— Ну да, черт возьми! вот же вам, понимаете?

— Вы ослеплены гневом, и я молчу. Боже мой, кто это?

— Где?

Раздался шум и хохот; две смазливые девушки вышли с крыльца; оба бросились к ним.

— Ах какие! что вы?

— Куда вы суетесь?

— Не те!

— Что, не на тех напали! Извозчик!

— Куда вас, мамзель?

— К Покрову; садись, Аннушка, я доведу.

— Ну, а я с той стороны; пошел! Смотри же, шибче вези...

Извозчик уехал.

— Это откуда?

— Боже мой, боже! Но не пойти ли туда?

— Куда?

— Да к Бобышцыну.

— Нет-с, нельзя...

— Отчего?

— Я бы, конечно, пошел; но тогда она скажет другое; она... обернется: я ее знаю! Она скажет, что нарочно пришла, чтоб меня поймать с кем-нибудь, да беду на меня же и свалит!

— И знать, что, может быть, там она! Да вы — я не знаю, почему же — ну, да вы подите к генералу-то...

— Да ведь он переехал!

— Все равно, понимаете? она же ведь пошла; ну, и вы тоже — поняли? Сделайте так, что как будто не знаете, что генерал переехал, приходите как будто к нему за женой, ну и так далее.

— А потом?

— Ну, а потом накрывайте изго следует у Бобышцына; фу, ты, черт, какой бестолк...

— Ну, а вам-то что до того, что я накрываю? Видите, видите!..

— Что, что, батенька? что? опять за то же, что прежде? Ах ты, господи, господи! Срамитесь вы, смешной человек, бестолковый вы человек!

— Ну, да зачем же вы так интересуетесь? вы хотите узнать...

— Что узнать? что? Ну, да черт возьми, не до вас теперь! Я и один пойду; ступайте, подите прочь; стерегите, бегайте там, ну!

— Милостивый государь, вы почти забываетесь! — кричал господин в епотах в отчаянии.

— Ну что ж? ну что ж, что я забываюсь? — проговорил молодой человек, стиснув зубы и в бешенстве приступая к господину в епотах, — ну что ж? перед кем забываюсь?! — загремел он, сжимая кулаки.

— Но, милостивый государь, позвольте...

— Ну, кто вы, перед кем забываюсь; как ваша фамилия?

— Я не знаю, как это, молодой человек; зачем же фамилию?.. Я не могу объявить... Я лучше с вами пойду. Пойдемте, я не отстану, я на все готов... Но, поверьте, я заслуживаю более вежливых выражений! Не нужно нигде терять присутствия духа, и если вы чем рас-

строены — я догадываюсь чем, — то по крайней мере забываться не нужно... Вы еще очень, очень молодой человек!..

— Да что мне, что вы старый? Эка невидаль! ступайте прочь; чего вы тут бегаете?..

— Почему ж я старый? какой же я старый? Конечно, по званию, но я не бегаю...

— Это и видно. Да убирайтесь же прочь...

— Нет, уж я с вами; вы мне не можете запретить; я тоже замешан; я с вами...

— Ну, так тише же, тише, молчать!..

Оба они взошли на крыльцо и поднялись на лестницу в третий этаж; было темнехошько.

— Стойте! Есть у вас спички?

— Спички? какие спички?

— Вы курите сигары?

— А, да! есть, есть; здесь они, здесь; вот, постоите... — Господин в енотах засуетился.

— Фу, какой бестолков... черт! кажется, эта дверь...

— Эта-эта-эта-эта-эта...

— Эта-эта-эта... что вы орете? тише!..

— Милостивый государь, я скрепя сердце... вы дерзкий человек, вот что!..

Вспыхнул огонь.

— Ну, так и есть, вот медная дощечка! вот Бобыницын; видите: Бобыницын?..

— Вижу, вижу!

— Ти...ше! Что, потухла?

— Потухла.

— Нужно постучаться?

— Да, нужно! — отозвался господин в енотах.

— Стучитесь!

— Нет, зачем же я? вы начните, вы постучите...

— Трус!

— Самн вы трус!

— Уб-бир-райтесь же!

— Я почти расканваюсь, что поверил вам тайну; вы...

— Я? Ну, что ж я?

— Вы воспользовались расстройством моим! вы видели, что я в расстроенном духе...

— А наплевать! мне смешно — вот и кончено!

— Зачем же вы здесь?

— А вы-то зачем?..

— Прекрасная нравственность! — заметил с негодованием господин в енотах...

— Ну, что вы про нравственность? вы-то чего?

— А вот и безнравственно!

— Что?!!

— Да, по-вашему, каждый обиженный муж есть колпак!

— Да вы разве муж? Ведь муж-то на Вознесенском мосту? Что ж вам-то? Чего вы пристали?

— А вот мне кажется, что вы-то и есть любовник!..

— Послушайте, если вы будете так продолжать, то я должен буду признаться, что вы-то и есть колпак! то есть знаете кто?

— То есть вы хотите сказать, что я муж! — сказал господин в енотах, как будто кипятком обваренный, отступая назад.

— Тсс! молчать! слышите...

— Это она.

— Нет!

— Фу! как темно!

Все затихло; в квартире Бобынницына послышался шум.

— За что нам ссориться, милостивый государь? — прошептал господин в енотах.

— Да вы же, черт возьми, сами обиделись!

— Но вы меня вывели из последних границ.

— Молчите!

— Согласитесь, что вы еще очень молодой человек...

— Молчите же!

— Конечно, я согласен с вашей идеей, что муж в таком положении — колпак.

— Да замолчите ли вы? о!..

— Но к чему же такое озлобленное преследование несчастного мужа?..

— Это она!

Но шум в это время умолк.

— Она?

— Она! она! она! Да вы-то, вы-то из чего хлопчете? ведь не ваша беда!

— Милостивый государь, милостивый государь! — бормотал господин в енотах, бледнея и всхлипывая. — Я, конечно, в расстройстве... вы достаточно видели мое

унижение; но теперь ночь, конечно, но завтра... впрочем, мы, верно, не встретимся завтра, хотя я и не боюсь встретиться с вами, — и это, впрочем, не я, это мой приятель, который на Вознесенском мосту; право, он! Это его жена, это чужая жена! Несчастный человек! уверяю вас. Я с ним знаком хорошо; позвольте, я вам все расскажу. Я с ним друг, как вы можете видеть, ибо не стал бы я так теперь из-за него сокрушаться, — сами видите; я же несколько раз ему говорил: зачем ты женишься, милый друг? звание есть у тебя, достаток есть у тебя, почтенный ты человек, что ж менять это все на прихоть кокетства! Согласитесь! Нет, женюсь, говорит: семейное счастье... Вот и семейное счастье! Сначала сам мужей обманывал, а теперь и пьет чашу... вы извините меня, но это объяснение было вынуждено необходимо!.. Он несчастный человек и пьет чашу — вот!.. — Тут господин в енотах так всхлипнул, как будто зарыдал не на шутку.

— А черт бы взял их всех! Мало ли дураков! Да вы кто такой?

Молодой человек скрежетал зубами от бешенства.

— Ну, уж после этого, согласитесь сами... я был с вами благороден и откровенен... этакой тон!

— Нет, позвольте, вы меня извините... как ваша фамилия?

— Нет, зачем же фамилия?

— А!!

— Мне нельзя сказать фамилию...

— Шабрина знаете? — быстро сказал молодой человек.

— Шабрин!!!

— Да, Шабрин! А!!! (Тут господин в бекеше несколько поддразнил господина в енотах.) Поняли дело?

— Нет-с, какой же Шабрин! — отвечал оторопевший господин в енотах, — совсем не Шабрин; он почтенный человек! Извиняю вашу невежливость мучениями ревности.

— Мошенник он, продажная душа, взяточник, плут, казну обворовал! Его скоро под суд отдадут!

— Извините, — говорил господин в енотах, бледная, — вы его не знаете; совершенно, как я вижу, он вам не известен.

— Да, в лицо-то не знаю, а из других очень близких ему источников знаю.

— Милостивый государь, из каких источников? Я в расстройстве, вы видите...

— Дурак! ревнивец! за женой не усмотрит! Вот он какой, коль приятно вам знать!

— Извините, вы в ожесточенном заблуждении, молодой человек...

— Ах!

— Ах!

В квартире Бобышницына послышался шум. Стали отворять дверь. Послышались голоса.

— Ах, это не она, не она! Я узнаю ее голос; я теперь узнал все, это не она! — сказал господин в епотах, поблуднев, как платок.

— Молчать!

Молодой человек прислонился к стене.

— Милостивый государь, я бегу: это не она, я очень рад.

— Ну, ну! ступайте, ступайте!

— А чего ж вы стоите?

— А вы-то чего?

Дверь отворилась, и господин в епотах, не выдержав, стремглав покатился с лестницы.

Мимо молодого человека прошли мужчина и женщина, и сердце его замерло... Послышался знакомый женский голос, и потом сильный мужской, но совсем незнакомый.

— Ничего, я прикажу сами подать, — говорил сильный голос.

— Ах! ну, ну, согласна; ну, прикажите...

— Они там, сейчас.

Дама осталась одна.

— Глафира! где твои клятвы? — вскричал молодой человек в бекеше, хватая за руку даму.

— Ай, кто это? Это вы, Творогов? Боже мой! что вы делаете?

— С кем вы здесь были?

— Но это мой муж, уйдите, уйдите, он сейчас выйдет оттуда... от Половницыных; уйдите, ради бога, уйдите.

— Половницыны три недели как пересехали! Я все знаю!

— Ай! — Дама бросилась на крыльцо. Молодой человек догнал ее.

— Кто вам сказал? — спросила дама.

— Муж ваш, сударыня, Иван Андреич; он здесь, он перед вами, сударыня...

Иван Андреич действительно стоял у крыльца.

— Ай, это вы? — закричал господин в енотовой шубе.

— А! c'est vous?¹ — закричала Глафира Петровна, с неподдельною радостью бросаясь к нему, — боже! что со мной было? Я была у Половицных; можешь себе представить... ты знаешь, что они теперь у Измайловского моста; я говорила тебе, помнишь? Я взяла сани оттудова. Лошадь взбесилась, понесла, разбила сани, и я упала отсюда во ста шагах; кучера взяли; я была вне себя. К счастью, monsieur² Творогов...

— Как?

М-г Творогов походил более на окаменелость, чем на м-г Творогова.

— Monsieur Творогов увидел меня здесь и взялся проводить; но теперь вы здесь, и я могу вам только изъявить мою жаркую благодарность, Иван Ильич...

Дама подала руку остоленелому Ивану Ильичу и почти ущипнула, а не сжала ее.

— Monsieur Творогов! мой знакомый; на бале у Скорлуповых имели удовольствие видеться: я, кажется, говорила тебе? Неужели ты не помнишь, коко?

— Ах, конечно, конечно! ах, помню! — заговорил господин в енотовой шубе, которого называли коко. — Очень приятно, очень приятно.

И он жарко пожал руку господину Творогову.

— Это с кем? Что же это значит? Я жду... — раздался сильный голос.

Перед группой стоял господин бесконечного роста; он вынул лорнет и внимательно посмотрел на господина в енотовой шубе.

— Ах, monsieur Бобынцын! — зашебетала дама. — Откудова? вот встреча! Представьте, меня тотчас разбила лошадь... но вот мой муж! Jean!³ Monsieur Бобынцын, на бале у Карповых...

¹ это вы? (франц.)

² господин (франц.).

³ Жан (франц.).

— Ах, очень, очень, очень приятно!.. Но я сейчас возьму карету, мой друг.

— Возьми, Жеап, возьми; я вся в испуге; я дрожу; со мной даже дурно... Сегодня в маскараде, — шепнула она Творогову... — Прощайте, прощайте, господин Бобыницын! мы, верно, встретимся завтра на бале у Карповых...

— Нет, извините, я завтра не буду; я уж завтра того, коль теперь не так... — Господин Бобыницын проворчал что-то еще сквозь зубы, шаркнул сапожищем, сел в свои сани и уехал.

Подъехала карета; дама села в нее. Господин в снотовой шубе остановился; казалось, он не в силах был сделать движения и бессмысленно смотрел на господина в бекеше. Господин в бекеше улыбался довольно неостроумно.

— Я не знаю...

— Извините, очень рад быть знакомым, — отвечал молодой человек, кланяясь с любопытством и немного сробев.

— Очень, очень рад...

— У вас, кажется, свалилась калоша...

— У меня? Ах да! благодарю, благодарю; хочу все завести резиновые...

— В резиновых нога как будто потеет-с, — сказал молодой человек, по-видимому с безграничным участием.

— Жеап! да скоро ли ты?

— Именно потеет. Сейчас, сейчас, душенька, вот разговор интересный! Именно, как вы изволили заметить, потеет нога... Впрочем, извините, я...

— Помилуйте-с.

— Очень, очень, очень рад познакомиться...

Господин в енотах сел в карету; карета тронулась; молодой человек все еще стоял на месте, в изумлении провожая ее глазами.

II

На другой же вечер шло какое-то представление в итальянской опере. Иван Андреевич ворвался в залу как бомба. Еще никогда не замечали в нем такого *figure*¹, такой страсти к музыке. По крайней мере поло-

¹ неистовство (итал.).

жительно знали, что Иван Андреевич чрезвычайно любил всхрапнуть часок-другой в итальянской опере; даже отзывался несколько раз, что оно и приятно и сладко. «Да и примадонна-то тебе, — говаривал он друзьям, — мяукает, словно беленькая кошечка, колыбельную песенку». Но он это уже давно что-то говаривал, еще в прошлый сезон; а теперь, увы! Иван Андреевич и дома не спит по ночам. Однако ж он все-таки ворвался как бомба в залу, набитую битком. Даже капельдникер взглянул на него как-то подозрительно и тут же наклонился глазом на его боковой карман, в полной надежде увидеть ручку припрятанного на всякий случай книжала. Нужно заметить, что в то время процветали две партии и каждая стояла за свою примадонну. Одни назывались ***зисты, другие ***нисты. Обе партии до того любили музыку, что капельдникеры, наконец, решительно стали опасаться какого-нибудь очень решительного проявления любви ко всему прекрасному и высокому, сомневавшемуся в двух примадоннах. Вот почему, смотря на такой юношеский порыв в залу театра даже седовласого старца, хотя, впрочем, не совсем седовласого, а так, около пятидесяти лет, плешивенького, и вообще человека с виду солидного свойства, капельдникер невольно вспомнил высокие слова Гамлета, датского принца:

Когда уж старость падает так страшно,
Что ж юность?... и т. д.

и, как было сказано выше, наклонился на боковой карман фрака, в надежде увидеть книжал. Но там был только один бумажник, и более ничего.

Влетев в театр, Иван Андреевич мигом облетел взглядом все ложи второго яруса, и — о, ужас! сердце его замерло: она была здесь! она сидела в ложе! Тут был и генерал Половницын с супругою и свояченицею; тут был и адъютант генерала — чрезвычайно ловкий молодой человек; тут был еще один статский... Иван Андреевич напряг все внимание, всю остроту зрения, но — о, ужас! статский человек предательски спрятался за адъютанта и остался во мраке неизвестности.

Она была здесь, а между тем сказала, что будет вовсе не здесь!

Вот эта-то двойственность, проявлявшаяся с некото-

рого времени на каждом шагу Глафиры Петровны, и убивала Ивана Андреевича. Вот этот-то статский юноша и поверг его, наконец, в совершенное отчаяние. Он опустился в кресла совсем пораженный. Отчего бы, кажется? Случай очень простой...

Нужно заметить, что кресла Ивана Андреевича приходились именно возле бенеуара, и вдобавок предательская ложа второго яруса приходилась прямо над его креслами, так что он, к величайшей своей неприятности, решительно не мог заметить, что делалось над его головою. Зато он злился и горячился, как самовар. Весь первый акт прошел для него незаметно, то есть он не слышал ни одной ноты. Говорят, что музыка тем и хороша, что можно настроить музыкальные впечатления под лад всякого ощущения. Радующийся человек найдет в звуках радость, печальный — печаль; в ушах Ивана Андреевича завывала целая буря. К совершенно досады сзади, спереди, сбоку кричали такие страшные голоса, что у Ивана Андреевича разрывалось сердце. Наконец, акт кончился. Но в ту минуту, как падал занавес, с нашим героем случилось такое приключение, которое ни какое перо не опишет.

Случается, что иногда с верхних ярусов лож слетает афишка. Когда пьеса скучна и зрители зевают, для них это целое приключение. Особенно с участием смотрят они на полет этой чрезвычайно мягкой бумаги с самого верхнего яруса и находят приятность следить за ее путешествием зигзагами до самых кресел, где она непременно уляжется на чью-нибудь вовсе не приготовленную к этому случаю голову. Действительно, очень любопытно смотреть, как эта голова сконфузится (потому что она непременно сконфузится). Мне всегда тоже бывает страшно за дамские бинокли, которые лежат зачастую на бордюрах лож: мне все так и кажется, что они вот тотчас слетят на чью-нибудь не приготовленную к этому случаю голову. Но я вижу, что некстати сделал такое трагическое примечание, и потому отсылаю его к фельетонам тех газет, которые предохраняют от обманов, от недобросовестности, от тараканов, если они у вас в доме, рекомендуя известного господина Принципе, страшного врага и противника всех тараканов на свете, не только русских, но даже и иностранных, как-то пруссаков и проч.

По с Иваном Андреевичем случилось приключение, до сих пор еще нигде не описанное. К нему слетела на голову — как уже сказано, довольно плешивую, — не афишка. Признаюсь, я даже совесушь сказать, что к нему слетело на голову, потому что действительно как-то совестно объявить, что на почтенную и обнаженную, то есть отчасти лишенную волос, голову ревнивого, раздраженного Ивана Андреевича слетел такой безнравственный предмет, как, например, любовная раздушенная записочка. По крайней мере бедный Иван Андреевич, совершенно не приготовленный к этому непредвиденному и безобразному случаю, вздрогнул так, как будто поймал на своей голове мышь или другого какого-нибудь дикого зверя.

Что записка была любовного содержания, в этом ошибаться было нельзя. Она была писана на раздушенной бумажке, совершенно так, как пишутся записки в романах, и сложена в предательски малую форму, так что ее можно было скрыть под дамской перчаткой. Упала же она, вероятно, по случаю, во время самой передачи: как-нибудь спрашивали, например, афишку, и уж записочка проворно была ввернута в эту афишку, уже передавалась в известные руки, но один миг, может быть нечаянный толчок адъютанта, чрезвычайно ловко извинившегося в своей неловкости, — и записочка выскользнула из маленькой, дрожавшей от смущения ручки, а статский юноша, уже протягивавший свою нетерпеливую руку, вдруг получает, вместо записки, одну афишку, с которой решительно не знает что делать. Неприятный, странный случай! совершенная правда; но, согласитесь сами, Ивану Андреевичу было еще неприятнее.

— *Predestiné* ¹, — прошептал он, обливаясь холодным потом и сжимая записочку в руках, — *predestiné*! Пуля пойдет виноватого! — промелькнуло в его голове, — нет, не то! Чем же я виноват? А вот, там есть другая половица: на бедного Макара и так далее.

Но мало ли что начнет презванивать в голове, оглушенной таким внезапным происшествием! Иван Андреевич сидел на стуле окостенев, как говорится, ни жив ни

¹ Предопределено (франц.).

мертв. Он уверен был, что его приключение замечено со всех сторон, несмотря на то, что во всей зале в это самое время началась суматоха и вызов певицы. Он сидел, так сконфузившись, так покраснев и не смея поднять глаз, как будто с ним случилась какая-нибудь неожиданная неприятность, какой-нибудь диссонанс в прекрасном многолюдном обществе. Наконец, он решился поднять глаза.

— Приятно пели-с! — заметил он одному франту, сидевшему по левую его сторону.

Франт, который был в последней степени энтузиазма и хлопал руками, но преимущественно выезжал на ногах, бегло и рассеянно взглянул на Ивана Андреевича и тотчас же, сделав руками щиток над своим ртом, чтобы было слышнее, крикнул имя певицы. Иван Андреевич, который еще никогда не слышал подобной глотки, был в восторге. «Ничего не заметил!» — подумал он и обратился назад. Но толстый господин, сидевший сзади его, теперь, в свою очередь, стал к нему задом и лорнировал ложи. «Тоже хорошо!» — подумал Иван Андреевич. Вперед, разумеется, ничего не видали. Он робко и с радостной надеждой покосился на бенуар, возле которого были его кресла, и вздрогнул от самого неприятного чувства. Там сидела прекрасная дама, которая, закрыв рот платком и упав на спинку кресел, хохотала как иступленная.

— Ох уж эти мне женщины! — прошептал Иван Андреевич и пустился по ногам зрителей к выходу.

Теперь я предлагаю решить самим читателям, я прошу их самих рассудить меня с Иваном Андреевичем. Неужели прав был он в эту минуту? Большой театр, как известно, заключает в себе четыре яруса лож и пятый ярус — галерею. Почему же непременно предположить, что записка упала именно из одной ложи, именно из этой самой, а не другой какой-нибудь, — например, хоть из пятого яруса, где тоже бывают дамы? Но страсть исключительна, а ревность — самая исключительная страсть в мире.

Иван Андреевич бросился в фойе, стал у лампы, сломал печать и прочел:

«Сегодня, сейчас после спектакля, в Г — вой, на углу ***ского переулка, в доме К***, в третьем этаже,

направо от лестницы. Вход с подъезда. Будь там, sans faute¹, ради бога».

Руки Иван Андреевич не узнал, но сомнения нет: назначалось свидание. «Поймать, изловить и пресечь зло в самом начале», — была первая идея Ивана Андреевича. Ему было пришло в голову изобличить теперь же, тут же на месте; но как это сделать? Иван Андреевич взбежал даже во второй ярус, но благоразумно воротился. Решительно он не знал, куда бежать. От нечего делать он забежал с другой стороны и посмотрел через открытую дверь чужой ложки на противоположную сторону. Так, так! во всех пяти ярусах по вертикальному направлению сидели молодые дамы и молодые люди. Записка могла упасть из всех пяти ярусов разом, потому что Иван Андреевич подозревал решительно все ярусы в заговоре против него. Но его ничто не исправило, никакие видности. Весь второй акт он бегал по всем коридорам и нигде не находил спокойствия духа. Он было сунулся в кассу театра, в надежде узнать от кассира имена особ, взявших ложки во всех четырех ярусах, но касса уже была заперта. Наконец, раздалась неистовые восклицания и аплодисменты. Представление кончилось. Начинались вызовы, и особенно гремели с самого верха два голоса, — предводители обеих партий. Но не до них было дело Ивану Андреевичу. У него уже мелькнула мысль дальнейшего его поведения. Он надел бекешь и пустился в Г — вую, чтоб там застать, накрыть, изобличить и вообще поступить немного энергичнее, чем вчерашний день. Он скоро нашел дом и уже ступил на подъезд, как вдруг, словно под руками у него, прошмыгнула фигура франта в пальто, обогнала его и пустилась по лестнице в третий этаж. Ивану Андреевичу показалось, что это тот самый франт, хотя он не мог различить и тогда лицо этого франта. Сердце в нем замерло. Франт обогнал его уже двумя лестницами. Наконец, он услышал, как отворилась дверь в третьем этаже, и отворилась без звонка, как будто ждали пришедшего. Молодой человек промелькнул в квартиру. Иван Андреевич достиг третьего этажа, когда не успели еще затворить эту дверь. Он хотел было постоять перед дверью, благоразумно пооб-

¹ непременно (франц.).

думать свой шаг, поробеть немного и потом уже решиться на что-нибудь очень решительное; но в эту самую минуту загремела карета у подъезда, с шумом отворились двери, и чьи-то тяжелые шаги начали с крихтом и кашлем свое восшествие в верхний этаж. Иван Андреевич не устоял, отворил дверь и очутился в квартире со всею торжественностью оскорбленного мужа. Навстречу к нему бросилась горничная, вся в волнении, потом явился человек; но остановить Ивана Андреевича не было никакой возможности. Как бомба влетел он в покои и, пройдя две темные комнаты, вдруг очутился в спальне перед молодой, прекрасной дамой, которая вся трепетала от страха и смотрела на него с решительным ужасом, как будто не понимая, что вокруг нее делается. В эту минуту послышались тяжелые шаги в соседней комнате, которые прямо шли в спальню: это были те самые шаги, которые всходили на лестницу.

— Боже! это мой муж! — вскрикнула дама, всплеснув руками и побледнев блее своего пеньюара.

Иван Андреевич почувствовал, что он не туда попал, что сделал глупую, детскую выходку, что не обдумал хорошо своего шага, что не поробел достаточно на лестнице. Но делать было нечего. Уже отворилась дверь, уже тяжелый муж, если только судить по его тяжелым шагам, входил в комнату... Не знаю, за кого принял себя Иван Андреевич в эту минуту! не знаю, что ему помешало прямо стать навстречу мужа, объявить, что попался впросак, сознаться, что бессознательно поступил неприличнейшим образом, попросить извинения и скрыться, — конечно, не с большою честью, конечно, не со славою, но по крайней мере уйти благородным, откровенным образом. Но нет, Иван Андреевич опять поступил, как мальчик, как будто бы считал себя Дон-Жуаном или Ловеласом! Он сначала прикрылся занавесками у кровати, а потом, когда почувствовал себя в полном упадке духа, припал на землю и бессмысленно полез под кровать. Испуг подействовал на него сильнее благоразумия, и Иван Андреевич, сам оскорбленный муж, или по крайней мере считавший себя таким, не вынес встречи с другим мужем — может быть, боясь оскорбить его своим присутствием. Так или не так, но он очутился под кроватью, решительно не понимая, как это случилось. Но, что всего было удивительнее,

дама не оказала никакой оппозиции. Она не закричала, видя, как чрезвычайно страшный пожилой господин идет убежища в ее спальне. Решительно она была так испугана, что, по всей вероятности, у нее отнялся язык.

Муж вошел, охая и кряхтя, поздоровался с женой параспев самым старческим образом и свалился на кресла так, как будто только что принес бремя дров. Раздался глухой и продолжительный кашель. Иван Андреевич, превратившийся из разъяренного тигра в ягненка, оробев и присмирев, как мышонок перед котом, едва смел дышать от испуга, хотя и мог бы знать, по собственному опыту, что не все оскорбленные мужья кусаются. Но это не пришло ему в голову или от недостатка соображения, или от другого какого-нибудь припадка. Осторожно, тихонько, ошупью начал он оправляться под кроватью, чтоб как-нибудь улечься удобнее. Каково же было его изумление, когда он ошупал рукою предмет, который, к его величайшему изумлению, пошевелился и в свою очередь схватил его за руку! Под кроватью был другой человек...

— Кто это? — шепнул Иван Андреевич.

— Ну, так я вам и сказал сейчас, кто я такой! — прошептал страшный незнакомец. — Лежите и молчите, коли попались впросак!

— Однако же...

— Молчать!

И посторонний человек (потому что под кроватью довольно было и одного), посторонний человек стиснул в своем кулаке руку Ивана Андреевича так, что тот едва не вскрикнул от боли.

— Милостивый государь...

— Тсс!

— Так не жмите же меня, или закричу.

— Ну-ка, закричите! попробуйте!

Иван Андреевич покраснел от стыда. Незнакомец был суров и сердит. Может быть, это был человек, испытавший не раз гонения судьбы и не раз находившийся в стесненном положении; но Иван Андреевич был новичок и задыхался от тесноты. Кровь билась ему в голову. Однако ж нечего было делать; нужно было лежать ничком. Иван Андреевич покорился и замолчал.

— Я, душенька, был, — начал муж, — я, душенька,

был у Павла Иваныча. Сели мы играть в преферанс, да так, кхи, кхи, кхи! (он закашлялся) так... кхи! Так снова... кхи! Ну ес!.. кхи! кхи! кхи!

И старичок погрузился в свой кашель.

— Спиша... — проговорил он, наконец, со слезами на глазах, — спиша разболелась... геморрой проклятый! Ни мать, ни сесть... ни сесть! Акхи, кхи, кхи!..

И казалось, что вновь начавшемуся кашлю суждено было прожить гораздо долее, чем старичку, обладателю этого кашля. Старичок что-то ворчал языком в промежутках, но решительно ничего нельзя было разобрать.

— Милостивый государь, ради бога подвиньтесь! — прошептал несчастный Иван Андреевич.

— Куда прикажете? места нет.

— Однако же, согласитесь сами, мне невозможно таким образом. Я еще в первый раз нахожусь в таком скверном положении.

— А я в таком неприятном соседстве.

— Однако же, молодой человек...

— Молчать!

— Молчать? Однако вы поступаете чрезвычайно неучтиво, молодой человек... Если не ошибаюсь, вы еще очень молодой; я постарше вас.

— Молчать!

— Милостивый государь! вы забываетесь; вы не знаете, с кем говорите!

— С господином, который лежит под кроватью...

— Но меня привлек сюда сюрприз... ошибка, а вас, если не ошибаюсь, безнравственность.

— Вот в этом-то вы и ошибаетесь.

— Милостивый государь! я постарше вас, я вам говорю...

— Милостивый государь! знайте, что мы здесь на одной доске. Прошу вас, не хватайте меня за лицо!

— Милостивый государь! я ничего не разберу. Извините меня, но нет места.

— Зачем же вы такой толстый?

— Боже! я никогда не был в таком унизительном положении!

— Да, ниже лежать нельзя.

— Милостивый государь, милостивый государь! я не знаю, кто вы такой, я не понимаю, как это случилось; но я здесь по ошибке; я не то, что вы думаете...

— Я бы ровно ничего не думал об вас, если б вы не толкались. Да молчите же!

— Милостивый государь! если вы не подвинетесь, со мной будет удар. Вы будете отвечать за смерть мою. Уверю вас... я почтенный человек, я отец семейства. Не могу же я быть в таком положении!..

— Сами же вы сунулись в такое положение. Ну, подвигайтесь же! вот вам место; больше нельзя!

— Благородный молодой человек! милостивый государь! я вижу, что я в вас ошибался, — сказал Иван Андреевич в восторге благодарности за уступленное место и расправляя затекшие члены, — я понимаю стесненное положение ваше, но что же делать? вижу, что вы дурно обо мне думаете. Позвольте мне поднять в вашем мнении мою репутацию, позвольте мне сказать, кто я такой, я пришел сюда против себя, уверю вас; я не затем, зачем вы думаете... Я в ужаснейшем страхе.

— Да замолчите ли вы? понимаете ли, что, если услышат нас, будет худо? Тсс... Он говорит. — Действительно, кашель старика, по-видимому, начинал проходить.

— Так вот, душенька, — хрипел он на самый плачевный напев, — так вот, душенька, кхи!.. кхи! ах, несчастье! Федосей-то Иванович и говорит: вы бы, говорит, тысячелиственник пить попробовали; слышишь, душенька?

— Слышу, мой друг.

— Ну, так и говорит: вы бы, говорит, попробовали тысячелиственник пить. Я и говорю: я пьявки припущал. А он мне: нет, Александр Демьянович, тысячелиственник лучше: он открывает, я вам скажу... кхи! кхи! ох, боже мой! Как же ты думаешь, душенька? кхи, кхи! ах, создатель мой! кхи, кхи!.. Так лучше тысячелиственник, что ли?.. кхи, кхи, кхи! ах! кхи! и так далее.

— Я думаю, что попробовать этого средства не худо, — отвечала супруга.

— Да, не худо! У вас, говорит, пожалуй, чахотка, кхи, кхи! А я говорю: подагра да раздражение в желудке; кхи, кхи! А он мне: может быть, и чахотка. Как ты, кхи, кхи! как ты думаешь, душенька: чахотка?

— Ах, боже мой, что это вы говорите такое?

— Да, чахотка! А ты бы, душенька, раздевалась теперь да спать ложилась, кхи! кхи! А у меня, кхи! сегодня насморк.

— Уф! — сделал Иван Андреевич, — ради бога, по-
двиньтесь!

— Решительно я вам удивляюсь, что с вами де-
лается, ну, не можете вы спокойно лежать...

— Вы ожесточены против меня, молодой человек;
хотите меня уязвить. Я это вижу. Вы, вероятно, любов-
ник этой дамы?

— Молчать!

— Не буду молчать! не дам вам командовать! А, вы,
верно, любовник? Если нас откроют, я ни в чем не ви-
новат, я ничего не знаю.

— Если вы не замолчите, — сказал молодой человек,
скрежеща зубами, — я скажу, что вы завлекли меня;
я скажу, что вы мой дядя, который промотал свое со-
стояние. Тогда по крайней мере не подумают, что я лю-
бовник этой дамы.

— Милостивый государь! вы издеваетесь надо мной.
Вы истощаете терпение мое.

— Тсс! или я вас заставлю молчать! Вы несчастье
мое! Ну, скажите, на что вы здесь? Без вас я бы про-
лежал как-нибудь до утра, а там бы и вышел.

— Но я здесь не могу же лежать до утра; я человек
благоразумный; у меня, конечно, связи... Как вы ду-
маете, неужели он будет здесь почевать?

— Кто?

— Да этот старик...

— Разумеется, будет. Не все ж такие мужья, как вы.
Ночуют и дома.

— Милостивый государь, милостивый государь! —
закричал Иван Андреевич, похолодев от испуга. —
Будьте уверены, что и я тоже дома, а теперь в первый
раз; но, боже мой, я вижу, что вы меня знаете. Кто вы
такой, молодой человек? скажите мне тотчас же, умоляю
вас, из бескорыстной дружбы, кто вы таков?

— Послушайте! я употреблю насиллие...

— Но позвольте, позвольте вам рассказать, мило-
стивый государь, позвольте вам объяснить все это сквер-
ное дело...

— Никаких объяснений не слушаю, ничего знать не
хочу. Молчите, или...

— Но я не могу же...

Под кроватью последовала легкая борьба, и Иван
Андреевич умолк.

— Душенька! что-то здесь как будто коты шепчутся?

— Какие коты? Чего вы не выдумаете?

Очевидно, что супруга не знала, о чем разговаривать с своим мужем. Она была так поражена, что еще не могла опомниться. Теперь же она вздрогнула и подняла ушки.

— Какие коты?

— Коты, душенька. Я наемщик прихожу, сидит паська у меня в кабинете, шю, шю, шю! и шепчет. Я ему: что ты, васька? а он опять: шю, шю, шю! И так как будто все шепчет. Я и думаю: ах, отцы мои! уж не о смерти ли он мне нашептывает?

— Какие глупости вы говорите сегодня! Стыдитесь, пожалуйста.

— Ну, ничего: не сердись, душенька; я вижу, тебе неприятно, что я умру, не сердись; я только так говорю. А ты бы, душенька, стала раздеваться и спать легла, а я бы здесь посидел, пока ты ложиться будешь.

— Ради бога, полноте; после...

— Ну, не сердись, не сердись! Только, право, здесь как будто мыши.

— Ну вот, то коты, то мыши! Право, я не знаю, что с вами делается.

— Ну, я ничего, я ни... кхи! я ничего, кхи, кхи, кхи, кхи! ах, боже ты мой! кхи!

— Слышите, вы так возитесь, что и он услышал, — прошептал молодой человек.

— Но если б вы знали, что со мной делается. У меня носом кровь идет.

— Пусть идет, молчите; подождите, когда он уйдет.

— Молодой человек, но вникните в мое положение; ведь я не знаю, с кем я лежу.

— Да легче вам от этого будет, что ли? Ведь я не интересуюсь знать вашу фамилию. Ну, как ваша фамилия?

— Нет, зачем же фамилию... Я только интересуюсь объяснить, каким бессмысленным образом...

— Тсс... он опять говорит.

— Право, душенька, шепчутся.

— Да нет же; это у тебя вата в ушах дурно лежит.

— Ах, по поводу ваты. Знаешь ли, тут, наверху... кхи, кхи! Наверху, кхи, кхи, кхи! и т. д.

— Наверху! — прошентал молодой человек. — Ах, черт! А я думал, что это последний этаж; да разве это второй?

— Молодой человек, — прошентал, встрепенувшись, Иван Андреевич, — что вы говорите? ради бога, почему это вас интересует? И я думал, что это последний этаж. Ради бога, разве здесь еще этаж?..

— Право, кто-то ворочается, — сказал старик, переставший, наконец, кашлять...

— Тсс! слышите! — прошентал молодой человек, славив обе руки Ивана Андреевича.

— Милостивый государь, вы держите мои руки в силлини. Пустите меня.

— Тсс...

Последовала легкая борьба, и потом опять наступило молчание.

— Так вот я и встречаю хорошенькую... — начал старик.

— Как хорошенькую? — перебила жена.

— Да ведь вот... говорил прежде я, что встретил хорошенькую даму на лестнице, или я пропустил? У меня ведь память слаба. Это зверобой... кхи!

— Что?

— Зверобой пить надо: говорят, лучше будет... кхи, кхи, кхи! лучше будет!

— Это вы его перебили, — проговорил молодой человек, опять заскрежетав зубами.

— Ты говорил, что встретил сегодня хорошенькую какую-то? — спросила жена.

— А?

— Хорошенькую встретил?

— Кто такой?

— Да ты?

— Я-то? Когда? Да, бишь!..

— Наконец-то! экая мумия! Ну, — прошентал молодой человек, мысленно погоняя забывчивого старичка.

— Милостивый государь! я трепещу от ужаса. Боже мой! что я слышу? Это как вчера; решительно, как вчера!..

— Тсс.

— Да, да, да! вспомнил; преплутувочка! Глазенки такие... в голубой шляпке...

— В голубой шляпке! Ай, ай!

— Это она! У ней есть голубая шляпка. Боже мой! — закричал Иван Андреевич...

— Она? кто она? — прошептал молодой человек, стиснув руки Ивана Андреевича.

— Тсс! — сделал в свою очередь Иван Андреевич. — Он говорит.

— Ах, боже мой! боже мой!

— Ну, да, впрочем, у кого ж нет голубой шляпки... ну!

— И такая плутовка! — продолжал старик. — Она тут к каким-то знакомым приходит. Все глазки делает. А к тем знакомым тоже ходят знакомые...

— Фу! как это скучно, — перебила дама, — помилуй, чем ты интересуешься?

— Ну, хорошо, ну, ну! не сердись! — возразил старичок нараспев. — Ну, я не буду говорить, коль ты не желашь. Ты что-то не в духе сегодня...

— Да вы как же сюда попали? — заговорил молодой человек.

— А, видите, видите! вот вы теперь интересуетесь, а прежде не хотели и слушать!

— Ну, да ведь мне все равно! не говорите, пожалуйста! Ах, черт возьми, какая история!

— Молодой человек, не сердитесь; я не знаю, что говорю; это я так; я только хотел сказать, что тут, верно, что-нибудь недаром, что вы принимаете участие... Но кто вы, молодой человек? Я вижу, вы незнакомец; но кто же вы, незнакомец? Боже, я не знаю, что говорю!

— Э! подите, пожалуйста! — прервал молодой человек, как будто что-то обдумывая.

— Но я вам все расскажу, все. Вы, может быть, думаете, что я не расскажу, что я зол на вас, нет! вот рука моя! Я только в упадке духа, больше ничего. Но, ради бога, скажите мне все сначала: как вы здесь сами? по какому случаю? Что же касается до меня, то я не сержусь, ей-богу не сержусь, вот вам рука моя. Здесь только пыльно; я немного запачкал ее; но это ничего для высокого чувства.

— Э, подите с вашей рукой! тут поворотится негде, а он с рукой лезет!

— Но, милостивый государь! вы со мной обходитесь, как будто, с позволения сказать, со старой подошвой, — проговорил Иван Андреевич в припадке самого кроткого

отчаяния, голосом, в котором было слышно моление. — Обойдитесь со мной учтивее, хоть немножко учтивее, и я вам все расскажу! Мы бы полюбили друг друга; я даже готов пригласить вас к себе на обед. А этак нам вместе лежать нельзя, откровенно скажу. Вы заблуждаетесь, молодой человек! Вы не знаете...

— Когда же это он ее встретил? — бормотал молодой человек, очевидно в крайнем волнении. — Она, может быть, теперь меня ждет... Я решительно выйду отсюда!

— Она? кто она? боже мой! про кого вы говорите, молодой человек? Вы думаете, что там наверху... Боже мой, боже мой! за что я так наказан?

Иван Андреевич попробовал повернуться на спину в знак отчаяния.

— А вам на что знать, кто она? А, черт! Была не была, я вылезаю!..

— Милостивый государь! что вы? а я-то, я-то как буду? — прошептал Иван Андреевич, в припадке отчаяния уцепившись за фалды фрака своего соседа.

— А мне-то что? Ну, и оставайтесь одни. А не хотите, так я, пожалуй, скажу, что вы мой дядя, который промотал свое состояние, чтоб не подумал старик, что я любовник жены его.

— Но, молодой человек, это невозможно; это ненатурально, коли дядя. Никто не поверит вам. Этому вот такой маленький ребенок не поверит, — шептал в отчаянии Иван Андреевич.

— Ну, так не болтайте же, а лежите себе спокойно, пластом! Пожалуй, почуйте здесь, а завтра как-нибудь вылезете; вас никто не заметит; уж коли один вылез, так, верно, не подумают, что еще остался другой. Еще бы сидела целая дюжина! Впрочем, вы и один стоите дюжины. Подвигайтесь, или я выйду!

— Вы язвите меня, молодой человек... А что, если я закашляюсь? Нужно все предвидеть!

— Тсс!..

— Что это? как будто наверху я опять слышу возню, — проговорил старичок, который тем временем, кажется, успел задремать.

— Наверху?

— Слышите, молодой человек, наверху!

— Ну, слышу!

— Боже мой! молодой человек, я выйду.

— А и так не выйду! Мне все равно! Уж если расстроилось, так все равно! А знаете ли, что я подозреваю? Я подозреваю, что вы-то и есть какой-нибудь обманутый муж — вот что!..

— Боже, какой цинизм!.. Неужели вы это подозреваете? Но почему же именно муж... я не женат.

— Как не женат? Дудки!

— Я, может быть, сам любовник!

— Хорош любовник!

— Милостивый государь, милостивый государь! Ну, хорошо, я все вам расскажу. Вонмите моему отчаянию. Это не я, я не женат. Я тоже холостой, как и вы. Это друг мой, товарищ детства... а я любовник... Говорит мне: «Я несчастный человек, я, говорит, пью чашу, я подозреваю жену свою». — «Но, — говорю я ему благо-разумно, — за что же ты ее подозреваешь?..» Но вы не слушаете меня. Слушайте, слушайте! «Ревниость смешна, говорю, ревниость порок!..» — «Нет, говорит, я несчастный человек! Я, того... чашу, — то есть я подозреваю». — «Ты, говорю, мой друг, ты товарищ моего нежного детства. Мы вместе срывали цветы удовольствия, тонули на пуховниках наслаждения». Боже, я не знаю, что говорю. Вы все смеетесь, молодой человек. Вы сделаете меня сумасшедшим.

— Да вы и теперь сумасшедший!..

— Так, так я и предчувствовал, что вы это скажете... когда говорил про сумасшедшего. Смейтесь, смейтесь, молодой человек! Так же и я процветал в свое время, так же и я соблазнял. Ах! у меня делается воспаление в мозгу!

— Что это, душенька, как будто у нас кто-то чихает? — пропел старичок. — Это ты, душка, чихнула?

— О боже мой! — проговорила супруга.

— Тсс! — раздалось под кроватью.

— Это наверху, верно, стучат, — заметила жена, испугавшись, потому что под кроватью действительно стало новилось шумно.

— Да, наверху! — проговорил муж. — Наверху! Говорил я тебе, что я франтика — кхи, кхи! франтика с усиками — кхи, кхи! ох, бог мой — спина!.. франтика сейчас встретил с усиками!

— С усиками! боже мой, это, верно, вы! — прошептал Иван Андреевич.

— Создатель мой, какой человек! Да ведь я здесь, здесь вместе с вами лежу! Как же бы он меня встретил? Да не хватайте меня за лицо!

— Боже, со мной сейчас будет обморок.

В это время наверху действительно послышался шум.

— Что бы там было? — прошептал молодой человек.

— Милостивый государь! я в страхе, я в ужасе. Помогите мне.

— Тсс!

— Действительно, душка, шум; целый гвалт поднимают. Да еще пад твоей спальней. Не послать ли спросить...

— Ну, вот! чего ты не выдумашь!

— Ну, я не буду; право, ты такая сегодня сердитая!..

— О, боже мой! вы бы шли спать.

— Лиза! ты меня вовсе не любишь.

— Ах, люблю! Ради бога, я так устала.

— Ну, ну! я уйду.

— Ах, нет, нет! не уходите, — закричала жена. — Или нет, идите, идите!

— Да что это ты в самом деле. То уходите, то не уходите! Кхи, кхи! А и вправду спать... кхи, кхи! У Папафидных девочки... Кхи, кхи! девочки... кхи! куклу я у девочки видел нюренбергскую, кхи, кхи...

— Ну, вот куклы теперь!

— Кхи, кхи! хорошая кукла, кхи, кхи!

— Он прощается, — проговорил молодой человек, — он идет, и мы тотчас уходим. Слышите? радуйтесь же!

— О, дай-то бог! дай-то бог!

— Это вам урок...

— Молодой человек! за что же урок? Я это чувствую... Но вы еще молоды; вы не можете давать мне урока.

— А все-таки дам. Слушайте...

— Боже! я хочу чихнуть!..

— Тсс! Если вы только осмелитесь.

— Но что же мне делать? здесь так пахнет мышами; не могу же я, достаньте мне из моего кармана платок, ради бога; я не могу шевельнуться... О, боже, боже! за что я так наказан?

— Вот вам платок! За что вы наказаны, я вам сейчас скажу. Вы ревнивы. Основываясь бог знает на чем, вы бегае как угорелый, врываетесь в чужое жилище, производите беспорядки...

— Молодой человек! я не производил беспорядков.

— Молчать!

— Молодой человек, вы не можете читать мне про нравственность: я нравственнее вас.

— Молчать!

— О, боже мой! боже мой!

— Производите беспорядки, пугаете молодую даму, робкую женщину, которая не знает, куда деваться от страха и, может быть, будет больна; беспокоите почтенного старца, удрученного геморроем, которому прежде всего нужен покой, — а все отчего? оттого, что вам вообразился какой-то вздор, с которым вы бегае по всем закоулкам! Понимаете ли, понимаете ли, в каком вы скверном теперь положении? Чувствуете ли вы это?

— Милостивый государь, хорошо! Я чувствую, но вы не имете права...

— Молчать! Какое тут право? Понимаете ли вы, что это может кончиться трагически? Понимаете ли, что старик, который любит жену, может с ума сойти, когда увидит, как вы будете вылезать из-под кровати? Но нет, вы не способны сделать трагедии! Когда вы вылезете, я думаю, всяк, кто посмотрит на вас, захохочет. Я бы желал вас видеть при свечах; должно быть, вы очень смешны.

— А вы-то? вы тоже смешны в таком случае! Я тоже хочу посмотреть на вас.

— Где вам!

— На вас, верно, клеймо безнравственности, молодой человек!

— А! вы про нравственность! А почему вы знаете, зачем я здесь? Я здесь ошибкой; я ошибся этажом. И черт знает, почему меня впустили! Верно, она в самом деле ждала кого-нибудь (не вас, разумеется). Я спрятался под кровать, когда услышал вашу глупую походку, когда увидел, что испугалась дама. К тому же было темно. Да и что я вам за оправдание? Вы, сударь, смешной, ревнивый старик. Ведь я отчего не выхожу? Вы, может быть, думаете, что я боюсь выйти? Нет, су-

дарь, я бы уж давно вышел, да только из сострадания к вам здесь сижу. Ну, на кого вы без меня здесь останетесь? Ведь вы будете как пень стоять перед ними, ведь вы не найдетесь...

— Нет, отчего же как пень? Отчего же как этот предмет? Разве вы не могли с чем другим сравнить, молодой человек? Отчего же не найдусь? Нет, я найдусь.

— О, боже мой, как лает эта собачонка!

— Тс! Ах, и в самом деле... Это оттого, что вы все болтаете. Видите, вы разбудили собачонку. Теперь нам беда.

Действительно, собачка хозяйки, которая все время спала на подушке в углу, вдруг проснулась, обнюхала чужих и с лаем бросилась под кровать.

— О, боже мой! какая глупая собачонка! — прошептал Иван Андреевич. — Она нас всех выдаст. Она все выведет на чистую воду. Вот еще наказание!

— Ну, да вы так трусите, что это может случиться.

— Ами, Ами, сюда! — закричала хозяйка, — ici, ici ¹.

Но собачка не слушалась и лезла прямо на Ивана Андреевича.

— Что это, душечка, Амишка все лает? — проговорил старичок. — Там, верно, мыши или кот васька сидит. То-то я слышу, что все чихает, все чихает... А ведь у васьки-то сегодня насморк.

— Лежите смирно! — прошептал молодой человек, — не ворочайтесь! она, может быть, так и отстанет.

— Милостивый государь, милостивый государь! Пустите мои руки! Зачем вы их держите?

— Тсс! молчать!

— Но помилуйте, молодой человек; она меня за нос кусает! Вы хотите, чтоб я лишился носа.

Последовала борьба, и Иван Андреевич высвободил свои руки. Собачка заливалась от лая; вдруг она перестала лаять и завизжала.

— Ай! — закричала дама.

— Изверг! что вы делаете? — прошептал молодой человек. — Вы губите нас обоих! Зачем вы схватили ее? Боже мой, он ее душит! Не душите, пустите ее! Изверг! Но вы не знаете после этого сердца женщины! Она нас выдаст обоих, если вы задушите собачку.

¹ сюда, сюда (франц.).

Но Иван Андреевич уже ничего не слышал. Ему удалось поймать собачку, и в припадке самохранения он сдавил ей горло. Собачонка взвизгнула и испустила дух.

— Мы пропали! — прошептал молодой человек.

— Амишка! Амишка! — закричала дама. — Боже мой, что они делают с моим Амишкой? Амишка! Амишка! ісі! о, изверги! варвары! боже, мне дурно!

— Что такое? что такое? — закричал старичок, вскочив с кресел. — Что с тобою, душа моя? Амишка здесь! Амишка, Амишка, Амишка! — кричал старичок, щелкая пальцами, причмокивая и вызывая Амишку из-под кровати. — Амишка! ісі! ісі! Не может быть, чтобы васька там съел его. Нужно высечь ваську, мой друг; его, плута, уже целый месяц не секли. Как ты думаешь? Я посоветуюсь завтра с Прасковьей Захарьевной. Но, боже мой, друг мой, что с тобой? Ты побледнела, ох! ох! люди! люди!

И старичок забегал по комнате.

— Злоден! изверги! — кричала дама, покотившись на кушетку.

— Кто? кто? кто такой? — кричал старик.

— Там есть люди, чужие!.. там, под кроватью! О, боже мой! Амишка! Амишка! что они с тобой сделали?

— Ах, боже мой, господи! какие люди! Амишка... Нет, люди, люди, сюда! Кто там? кто там? — закричал старик, схватив свечку и нагнувшись под кровать. — Кто такой? Люди, люди!..

Иван Андреевич лежал ни жив ни мертв подле бездыханного трупа Амишки. Но молодой человек ловил каждое движение старика. Вдруг старик зашел с другой стороны, к стене, и нагнулся. В один миг молодой человек вылез из-под кровати и пустился бежать, покамест муж искал своих гостей по ту сторону брачного ложа.

— Боже! — прошептала дама, взглядевшись в молодого человека. — Кто же вы такой? А я думала...

— Тот изверг остался, — прошептал молодой человек. — Он виновник Амишкиной смерти!

— Ай! — вскрикнула дама.

Но молодой человек уже исчез из комнаты.

— Ай! здесь кто-то есть. Здесь чей-то сапог! — закричал муж, поймав за ногу Ивана Андреевича.

— Убийца! убийца! — кричала дама. — О, Ами! Ами!

— Вылезайте, вылезайте! — кричал старик, топая по ковру обеими ногами. — Вылезайте; кто вы таковы? говорите, кто вы таковы. Боже, какой страшный человек!

— Да это разбойники!..

— Ради бога, ради бога! — кричал Иван Андреевич, вылезая. — Ради бога, ваше превосходительство, не зовите людей! Ваше превосходительство, не зовите людей! это совершенно лишнее. Вы меня не можете вытолкать!.. Я не такой человек! Я сам по себе... Ваше превосходительство, это случилось по ошибке! Я вам сейчас объясню, ваше превосходительство, — продолжал Иван Андреевич, рыдая и всхлипывая. — Это все жена, то есть не моя жена, а чужая жена, — я не женат, я так... Это мой друг и товарищ детства...

— Какой товарищ детства! — кричал старик, топая ногами. — Вы вор, пришли обокрасть... а не товарищ детства...

— Нет, не вор, ваше превосходительство; я действительно товарищ детства... я только печаянно ошибся, попал с другого подъезда.

— Да, я вижу, сударь, вижу, из какого подъезда вы вылезли.

— Ваше превосходительство! Я не такой человек. Вы ошибаетесь. Я говорю, что вы в жестоком заблуждении, ваше превосходительство. Взгляните на меня, посмотрите, вы увидите по некоторым знакам и признакам, что я не могу быть вором. Ваше превосходительство! ваше превосходительство! — кричал Иван Андреевич, складывая руки и обращаясь к молодой даме. — Вы дама, поймите меня... Это я умертвил Амишку... Но я не виноват, я, ей-богу, не виноват... Это все жена виновата. Я несчастный человек, я пью чашу!

— Да помилуйте, какое же мне дело, что вы выпили чашу; может быть, вы и не одну чашу выпили, — судя по вашему положению, оно и видно; но как же вы зашли сюда, милостивый государь? — кричал старик, весь дрожа от волнения, но действительно удостоверившись, по некоторым знакам и признакам, что Иван Андреевич не может быть вором. — Я вас спрашиваю: как вы зашли сюда? Вы как разбойник...

— Не разбойник, ваше превосходительство. Я только с другого подъезда; право, не разбойник! Это все оттого,

что я ревнив. Я вам все расскажу, ваше превосходительство, откровенно расскажу, как отцу родному, потому что вы в таких летах, что я могу принять вас за отца.

— Как в таких летах?

— Ваше превосходительство! Я, может быть, вас оскорбил? Действительно, такая молодая дама... и ваши лета... приятно видеть, ваше превосходительство, действительно приятно видеть такое супружество... в цвете лет... Но не зовите людей... ради бога, не зовите людей... люди только будут смеяться... я их знаю... То есть я не хочу этим сказать, что я знаком с одними лакеями, — у меня тоже есть лакеи, ваше превосходительство, и всё смеются... ослы! ваше сиятельство... Я, кажется, не ошибаюсь, я говорю с князем...

— Нет, не с князем, я, милостивый государь, сам по себе. Пожалуйста, меня не задабривайте вашим сиятельством. Как вы попали сюда, милостивый государь? как вы попали?

— Ваше сиятельство, то есть ваше превосходительство... извините, я думал, что вы ваше сиятельство. Я осмотрелся... я обдумался — это случается. Вы так похожи на князя Короткоухова, которого я имел честь видеть у моего знакомого, господина Пузырева... Видите, я тоже знаком с князьями, тоже видел князя у моего знакомого: вы не можете меня принимать за того, за кого меня принимаете. Я не вор. Ваше превосходительство, не зовите людей; ну, позовете людей, что ж из этого выйдет?

— Но как вы сюда попали? — закричала дама. — Кто вы таковы?

— Да, кто вы таковы? — подхватил муж. — А я-то, душенька, думаю, что это васька у нас под кроватью сидит и чихает. А это он. Ах ты, потаскун-потаскун!.. Кто вы такой? Говорите же!

И старичок снова затопал по ковру ногам.

— Я не могу говорить, ваше превосходительство. Я ожидаю, покамест вы кончите... Внимаю вашим остроумным шуткам. Что же касается до меня, то это смешная история, ваше превосходительство. Я вам все расскажу. Это может все и без того объясниться, то есть я хочу сказать: не зовите людей, ваше превосходительство! поступите со мной благородным образом... Это.

ничего, что я посидел под кроватью... я не потерял этим своей важности. Это история самая комическая, ваше превосходительство! — вскричал Иван Андреевич, сумоляющим видом обращаясь к супруге. — Особенно вы, ваше превосходительство, будете смеяться! Вы видите на сцене ревнивого мужа. Вы видите, я унижаюсь, я сам добровольно унижаюсь. Конечно, я умертвил Амишку, но... боже мой, я не знаю, что говорю!

— Но как же, как вы зашли сюда?

— Пользуясь темнотою ночи, ваше превосходительство, пользуюсь этою темнотою... Виноват! простите меня, ваше превосходительство! Униженно прошу извинения! Я только оскорбленный муж, больше ничего! Не подумайте, ваше превосходительство, чтоб я был любовник; я не любовник! Ваша супруга очень добродетельна, если осмелюсь так выразиться. Она чиста и невинна!

— Что? что? что вы осмеливаетесь говорить? — закричал старик, снова затопав ногами. — С ума вы сошли, что ли? Как вы смеете говорить про жену мою?

— Этот злодей, убийца, который умертвил Амишку! — кричала супруга, заливаясь слезами. — И он еще смеет!

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство! я только заврался, — кричал оторопевший Иван Андреевич, — я заврался, и больше ничего! Считайте, что я не в своем уме... Ради бога, считайте, что я не в своем уме... Честью клянусь вам, что вы мне сделаете чрезвычайное одолжение. Я бы подал вам руку, но я не смею подать ее... Я был не один, я дядя... то есть я хочу сказать, что меня нельзя принять за любовника... Боже! я опять завираюсь... Не обижайтесь, ваше превосходительство, — кричал Иван Андреевич супруге. — Вы дама, вы понимаете, что такое любовь, — это тонкое чувство... Но что я? опять завираюсь! то есть я хочу сказать, что я старик, то есть пожилой человек, а не старик, — что я не могу быть вашим любовником, что любовник есть Ричардсон, то есть Ловелас... я заврался; но вы видите, ваше превосходительство, что я ученый человек и знаю литературу. Вы смеетесь, ваше превосходительство! Рад, рад, что *провокировал*¹ смех ваш,

¹ провокировал (от франц. — provoquer) — вызвал.

что я ревнив. Я вам все расскажу, ваше превосходительство, огкровенно расскажу, как отцу родному, потому что вы в таких летах, что я могу принять вас за отца.

— Как в таких летах?

— Ваше превосходительство! Я, может быть, вас оскорбил? Действительно, такая молодая дама... и ваши лета... приятно видеть, ваше превосходительство, действительно приятно видеть такое супружество... в шесте лет... Но не зовите людей... ради бога, не зовите людей... люди только будут смеяться... я их знаю... То есть я не хочу этим сказать, что я знаком с одними лакеями, — у меня тоже есть лакеи, ваше превосходительство, и всё смеются... ослы! ваше сиятельство... Я, кажется, не ошибаюсь, я говорю с князем...

— Нет, не с князем, я, милостивый государь, сам по себе. Пожалуйста, меня не задабривайте вашим сиятельством. Как вы попали сюда, милостивый государь? как вы попали?

— Ваше сиятельство, то есть ваше превосходительство... извините, я думал, что вы ваше сиятельство. Я осмотрелся... я обдумался — это случается. Вы так похожи на князя Короткоухова, которого я имел честь видеть у моего знакомого, господина Пузырева... Видите, я тоже знаком с князьями, тоже видел князя у моего знакомого: вы не можете меня принимать за того, за кого меня принимают. Я не вор. Ваше превосходительство, не зовите людей; ну, позовете людей, что ж из этого выйдет?

— Но как вы сюда попали? — закричала дама. — Кто вы таковы?

— Да, кто вы таковы? — подхватил муж. — А я-то, душенька, думаю, что это васька у нас под кроватью сидит и чихает. А это он. Ах ты, потаскун-потаскун!.. Кто вы такой? Говорите же!

И старичок снова затопал по ковру ногами.

— Я не могу говорить, ваше превосходительство. Я ожидаю, покамест вы кончите... Внимаю вашим остроумным шуткам. Что же касается до меня, то это смешная история, ваше превосходительство. Я вам все расскажу. Это может все и без того объясниться, то есть я хочу сказать: не зовите людей, ваше превосходительство! поступите со мной благородным образом... Это.

ничего, что я посидел под кроватью... я не потерял этим своей важности. Это история самая комическая, ваше превосходительство! — вскричал Иван Андреевич, с умоляющим видом обращаясь к супруге. — Особенно вы, ваше превосходительство, будете смеяться! Вы видите на сцене ревнивого мужа. Вы видите, я унижаюсь, я сам добровольно унижаюсь. Конечно, я умертвил Амншку, но... боже мой, я не знаю, что говорю!

— Но как же, как вы зашли сюда?

— Пользуясь темнотою ночи, ваше превосходительство, пользуясь этою темнотою... Виноват! простите меня, ваше превосходительство! Униженно прошу извинения! Я только оскорбленный муж, больше ничего! Не подумайте, ваше превосходительство, чтоб я был любовник; я не любовник! Ваша супруга очень добродетельна, если осмелюсь так выразиться. Она чиста и невинна!

— Что? что? что вы осмеливаетесь говорить? — закричал старик, снова затопав ногами. — С ума вы сошли, что ли? Как вы смеете говорить про жену мою?

— Этот злодей, убийца, который умертвил Амншку! — кричала супруга, заливаясь слезами. — И он еще смеет!

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство! я только заврался, — кричал оторопевший Иван Андреевич, — я заврался, и больше ничего! Считайте, что я не в своем уме... Ради бога, считайте, что я не в своем уме... Честью клянусь вам, что вы мне сделаете чрезвычайное одолжение. Я бы подал вам руку, но я не смею подать ее... Я был не один, я дядя... то есть я хочу сказать, что меня нельзя приять за любовника... Боже! я опять завираюсь... Не обижайтесь, ваше превосходительство, — кричал Иван Андреевич супруге. — Вы дама, вы понимаете, что такое любовь, — это тонкое чувство... Но что я? опять завираюсь! то есть я хочу сказать, что я старик, то есть пожилой человек, а не старик, — что я не могу быть вашим любовником, что любовник есть Ричардсон, то есть Ловелас... я заврался; но вы видите, ваше превосходительство, что я ученый человек и знаю литературу. Вы смеетесь, ваше превосходительство! Рад, рад, что *провокировал*¹ смех ваш,

¹ провокировал (от франц. — *provoquer*) — вызвал.

ваше превосходительство. О, как я рад, что спровоцировал смех ваш!

— Боже мой! какой смешной человек! — кричала дама, надрываясь от хохота.

— Да, смешной, и какой запачканный, — заговорил старик, в радости, что засмеялась жена. — Душечка, он не может быть вором. Но как он зашел сюда?

— Действительно странно! действительно странно, ваше превосходительство, на роман похоже! Как? в глухую полночь, в столичном городе, человек под кроватью? Смешно, странно! Ринальдо Ринальдини, некоторым образом. Но это ничего, это все ничего, ваше превосходительство. Я вам все расскажу... А вам, ваше превосходительство, я новую болонку достану... удивительная болонка! Эдакая шерсть длинная, ножки коротенькие, двух шагов пройти не умеет: побежит, запутается в собственной шерсти и упадет. Сахаром только одним кормить. Я вам принесу, ваше превосходительство, я вам непременно ее принесу.

— Ха, ха, ха, ха, ха, ха! — Дама металась из стороны в сторону на диване от смеха. — Боже мой, со мной делается истерика! Ох, какой смешной!

— Да, да! ха, ха, ха! кхи, кхи, кхи! смешной, запачканный такой, кхи, кхи, кхи!

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство, я теперь совершенно счастлив! Я бы предложил вам мою руку, но я не смею, ваше превосходительство, я чувствую, что я заблуждался, но теперь открываю глаза. Я верю, моя жена чиста и невинна! Я напрасно подозревал се...

— Жена, его жена! — кричала дама, со слезами на глазах от хохота.

— Он женат! неужели? Вот бы я никак не подумал! — подхватил старик.

— Ваше превосходительство, жена — и она всему виновата, то есть это я виноват; я подозревал се; я знал, что здесь устроено свидание, — здесь наверху; я перехватил записку, ошибся этажом и пролежал под кроватью...

— Хе, хе, хе, хе!

— Ха, ха, ха, ха!

— Ха, ха, ха, ха! — захохотал, наконец, Иван Андреевич. — О, как я счастлив! о, как умирительно ви-

деть, что мы все так согласны и счастливы! И жена моя совершенно невинна! я в том почти уверен. Ведь непременно так, ваше превосходительство?

— Ха, ха, ха! Кхи, кхи! Знаешь, душечка, это кто? — заговорил, наконец, старик, освобождаясь от смеха.

— Кто? Ха, ха, ха! Кто?

— Это та хорошенькая, что глазки делает, с фран-тиком которая. Это она! Я бьюсь об заклад, что это жена его!

— Нет, ваше превосходительство, я уверен, что это не та! я совершенно уверен.

— Но, боже мой! Вы теряете время, — закричала дама, перестав хохотать. — Бегите, ступайте вверх. Может быть, вы их застанете...

— В самом деле, ваше превосходительство, я полечу. Но я никого не застану, ваше превосходительство; это не она, я уверен заранее. Она теперь дома! А это я! Я только ревнив, и более ничего... Как вы думаете, неужели я их застану там, ваше превосходительство?

— Ха, ха, ха!

— Хи, хи, хи! Кхи, кхи!

— Ступайте, ступайте! А когда пойдете назад, так придите рассказать, — кричала дама, — или нет: лучше завтра утром, да приведите и ее: я хочу познакомиться.

— Прощайте, ваше превосходительство, прощайте! Непременно приведу; очень рад познакомиться. Я счастлив и рад, что все так неожиданно кончилось и развязалось к лучшему.

— И болонку! Не забудьте же: болонку прежде всего принесите!

— Принесу, ваше превосходительство, непременно принесу, — подхватил Иван Андреевич, снова вбжав в комнату, потому что уже было раскланялся и вышел. — Непременно принесу. Такая хорошенькая! точно ее кондитер из конфет сделал. И такая: пойдет — в собственной шерсти запутается и упадет. Такая, право! Я еще жене говорю: «Что это, душечка, она все падает?» — «Да, миленькая такая!» — говорит. Из сахару, ваше превосходительство, ей-богу из сахару сделана! Прощайте, ваше превосходительство, очень, очень рад познакомиться, очень рад познакомиться!

Иван Андреевич откланялся и вышел.

— Эй, вы! Милостивый государь! Пойдите, воротитесь опять! — закричал старичок вслед уходившему Ивану Андреевичу.

Иван Андреевич в третий раз всрнулся.

— Я вот васьки-кота все не отыщу. Не встречались ли вы с ним, когда под кроватью сидели?

— Нет, не встречался, ваше превосходительство; впрочем, очень рад познакомиться. И почту за большую честь...

— У него теперь насморк, и все чихает, все чихает! Его надо высечь!

— Да, ваше превосходительство, конечно; исправительные наказания необходимы с домашними животными.

— Что?

— Я говорю, что исправительные наказания, ваше превосходительство, необходимы для водворения покорности в домашних животных.

— А!.. ну, с богом, с богом, я только об этом.

Вышед на улицу, Иван Андреевич стоял долгое время в таком положении, как будто ожидал, что с ним тотчас же будет удар. Он снял шляпу, отер холодный пот со лба, зажмурился, подумал о чем-то и пустился домой.

Каково же было его изумление, когда дома он узнал, что Глафира Петровна уже давно приехала из театра, уже давно как у ней разболелись зубы, как посылала за доктором, как посылала за пьевками и как она теперь лежит в постели и дожидается Ивана Андреевича.

Иван Андреевич ударил себя сначала по лбу, потом приказал подать себе умыться и почиститься и, наконец, решился идти в спальню жены.

— Где это вы проводите время? Посмотрите, на кого вы похожи. На вас лица нет! Где это вы пропадали? Помилуйте, сударь: жена умирает, а вас не сыщут по городу. Где вы были? Уж не опять ли меня ловили, хотели расстроить свидание, которое я не знаю кому назначила? Стыдно, сударь, какой вы муж! Скоро пальцами указывать будут!

— Душечка! — отвечал Иван Андреевич.

Но тут он почувствовал такое смущение, что принужден был полезть в карман за платком и прервать начатую речь, затем что недоставало ни слов, ни мысли,

ни духа... Каково же было его изумление, страх, ужас, когда вместе с платком выпал из кармана покойник Амишка? Иван Андреевич и не заметил, как, в порыве отчаяния, принужденный вылезть из-под кровати, сунул Амишку, в припадке безотчетного страха, в карман, с отдаленной надеждой схоронить концы, скрыть улику своего преступления и избегнуть таким образом заслуженного наказания.

— Что это? — закричала супруга. — Мертвая собачонка! Боже! Откуда... Что это вы?.. Где вы были? Говорите сейчас, где вы были?..

— Душечка! — отвечал Иван Андреевич, помертвев более Амишки. — Душечка...

Но здесь мы оставим нашего героя, — до другого раза, потому что здесь начинается совершенно особое и новое приключение. Когда-нибудь мы доскажем, господа, все эти бедствия и гонения судьбы. Но согласитесь сами, что ревность — страсть непростительная, мало того: даже — несчастие!..

МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ

Из неизвестных мемуаров

Было мне тогда без малого одиннадцать лет. В июле отпустили меня гостить в подмосковную деревню, к моему родственнику, Т — ву, к которому в то время съехалось человек пятьдесят, а может быть, и больше, гостей... не помню, не сосчитал. Было шумно и весело. Казалось, это был праздник, который с тем и начался, чтоб никогда не кончиться. Казалось, наш хозяин дал себе слово как можно скорее промотать все свое огромное состояние, и ему удалось-таки недавно оправдать эту догадку, то есть промотать все, дотла, дичиета, до последней щепки. Поминутно наезжали новые гости. Москва же была в двух шагах, на виду, так что уезжавшие только уступали место другим, а праздник шел своим чередом. Увеселения сменялись одни другими, и затеям конца не предвиделось. То верховая езда по окрестностям, целыми партиями, то прогулки в бор или по реке; пикники, обеды в поле; ужины на большой террасе дома, обставленной тремя рядами драгоценных цветов, заливавших ароматами свежий ночной воздух, при блестящем освещении, от которого наши дамы, и без того почти все до одной хорошенькие, казались еще прелестнее с их одушевленными от дневных впечатлений лицами, с их сверкавшими глазками, с их перекрестною резвою речью, переливавшеюся звонким, как колокольчик, смехом; танцы, музыка, пение; если хмурилось небо, сочинялись живые картины, шарады, пословицы; устраивался домашний театр. Явились красобан, расказчики, бонмотисты.

Несколько лиц резко обрисовалось на первом плане. Разумеется, злословие, сплетни шли своим чередом, так как без них и свет не стоит, и миллионы особ перемерли бы от тоски, как мухи. Но так как мне было одиннадцать лет, то я и не замечал тогда этих особ, отвлеченный совсем другим, а если и заметил что, так не все. После уже кое-что пришлось вспомнить. Только одна блестящая сторона картины могла броситься в мои детские глаза, и это всеобщее одушевление, блеск, шум — все это, доселе невиданное и неслыханное мною, так поразило меня, что я в первые дни совсем растерялся и маленькая голова моя закружилась.

Но я все говорю про свои одиннадцать лет, и, конечно, я был ребенок, не более как ребенок. Многие из этих прекрасных женщин, лаская меня, еще не думали справляться с моими годами. Но — страшное дело! — какое-то непонятное мне самому ощущение уже овладело мною; что-то шлоестило уже по моему сердцу, до сих пор незнакомое и неведомое ему; по отчего оно подчас горело и билось, будто испуганное, и часто неожиданным румянцем обливалось лицо мое. Порой мне как-то стыдно и даже обидно было за разные детские мои привилегии. Другой раз как будто удивление одолевало меня, и я уходил куда-нибудь, где бы не могли меня видеть, как будто для того, чтоб перевести дух и что-то припомнить, что-то такое, что до сих пор, казалось мне, я очень хорошо помнил и про что теперь вдруг позабыл, но без чего, однако ж, мне покуда нельзя показаться и никак нельзя быть.

То, наконец, казалось мне, что я что-то затаял от всех, но ни за что и никому не сказывал об этом, затем, что стыдно мне, маленькому человеку, до слез. Скоро среди вихря, меня окружавшего, почувствовал я какое-то одиночество. Тут были и другие дети, но все — или гораздо моложе, или гораздо старше меня; да, впрочем, не до них было мне. Конечно, ничего б и не случилось со мною, если б я не был в исключительном положении. На глаза всех этих прекрасных дам я все еще был то же маленькое, неопределенное существо, которое они подчас любили ласкать и с которым им можно было играть, как с маленькой куклой. Особенно одна из них, очаровательная блондинка, с пышными, густейшими

волосами, каких я никогда потом не видел и, верно, никогда не увижу, казалось, поклялась не давать мне покоя. Меня смущал, а ее веселил смех, раздававшийся кругом нас, который она поминутно вызывала своими резкими, взбалмошными выходками со мною, что, видно, доставляло ей огромное наслаждение. В пансионах, между подругами, ее наверное прозвали бы школьницей. Она была чудно хороша, и что-то было в ее красоте, что так и металось в глаза с первого взгляда. И, уж конечно, она непохожа была на тех маленьких стыдливых блондинок, беленьких, как пушок, и нежных, как белые мышки или пасторские дочки. Ростом она была невысока и немного полна, но с нежными, тонкими линиями лица, очаровательно нарисованными. Что-то как молния сверкающее было в этом лице, да и вся она — как огонь, живая, быстрая, легкая. Из ее больших открытых глаз будто искры сыпались; они сверкали, как алмазы, и никогда я не променяю таких голубых, искрометных глаз ни на какие черные, будь они чернее самого черного андалузского взгляда, да и блондинка моя, право, стояла той знаменитой брюнетки, которую воспел один известный и прекрасный поэт и который еще в таких превосходных стихах поклялся всей Кастилией, что готов переломать себе кости, если позволят ему только кончиком пальца прикоснуться к мантилье его красавицы. Прибавь к тому, что моя красавица была самая веселая из всех красавиц в мире, самая взбалмошная хохотунья, резвая, как ребенок, несмотря на то, что лет пять как была уже замужем. Смех не сходил с ее губ, свежих, как свежая утренняя роза, только что успевшая раскрыть, с первым лучом солнца, свою алию, ароматную почку, на которой еще не обсохли холодные, крупные капли росы.

Помню, что на второй день моего приезда был устроен домашний театр. Зала была, как говорится, набита битком; не было ни одного места свободного; а так как мне привелось почему-то опоздать, то я и принужден был наслаждаться спектаклем стоя. Но веселая игра все более и более тянула меня вперед, и я незаметно пробрался до самых первых рядов, где и стал, наконец, облокотясь на спинку кресел, в которых сидела одна дама. Это была моя блондинка; но мы еще знакомы не были. И вот, как-то невзначай, засмотрелся

я на се чудно-округленные, соблазнительные плечи, полные, белые, как молочный кипень, хотя мне решительно все равно было смотреть: на чудесные женские плечи или на чепец с огненными лентами, скрывавший седины одной почтенной дамы в первом ряду. Возле блондинки сидела перезрелая дева, одна из тех, которые, как случилось мне потом замечать, вечно ютятся где-нибудь, как можно поближе к молоденьким и хорошеньким женщинам, выбирая таких, которые не любят гонять от себя молодежь. Но не в том дело; только эта дева подметила мои наблюдения, нагнулась к соседке и, хихикая, пошептала ей что-то на ухо. Соседка вдруг обернулась, и помню, что огневые глаза ее так сверкнули на меня в полусумраке, что я, не приготовленный к встрече, вздрогнул, как будто обжегшись. Красавица улыбнулась.

— Нравится вам, что играют? — спросила она, лукаво и насмешливо посмотрев мне в глаза.

— Да, — отвечал я, все еще смотря на нее в каком-то удивлении, которое ей, в свою очередь, видимо, нравилось.

— А зачем же вы стоите? Так устанете; разве вам места нет?

— То-то и есть, что нет, — отвечал я, на этот раз более занятый заботой, чем искрометными глазами красавицы, и пресерьезно обрадовавшись, что нашлось, наконец, доброе сердце, которому можно открыть свое горе. — Я уж искал, да все стулья заняты, — прибавил я, как будто жалуясь ей на то, что все стулья заняты.

— Ступай сюда, — живо заговорила она, скорая на все решения так же, как и на всякую сумасбродную идею, какая бы ни мелькнула в взбалмошной ее голове, — ступай сюда, ко мне, и садись мне на колени.

— На колени?.. — повторил я, озадаченный.

Я уже сказал, что мои привилегии серьезно начали меня обижать и совестить. Эта, будто на смех, не в пример другим далеко заходила. К тому же я, и без того всегда робкий и стыдливый мальчик, теперь как-то особенно начал робеть перед женщинами и потому ужасно сконфузился.

— Ну да, на колени! Отчего же ты не хочешь сесть ко мне на колени? — настаивала она, начиная смеяться все сильнее и сильнее, так что, наконец, просто

принялась хохотать бог знает чему, может быть своей же выдумке или обрадовавшись, что я так сконфузился. Но ей того-то и нужно было.

Я покраснел и в смущении осматривался кругом, прискивая — куда бы уйти; но она уже предупредила меня, как-то успев поймать мою руку, именно для того, чтоб я не ушел, и, притянув ее к себе, вдруг совсем неожиданно, к величайшему моему удивлению, прешоложно сжала ее в своих шаловливых, горячих пальчиках и начала ломать мои пальцы, но так больно, что я напрягал все усилия, чтоб не закричать, и при этом делал пресмешные гримасы. Кроме того, я был в ужаснейшем удивлении, недоумении, ужасе даже, узнав, что есть такие смешные и злые дамы, которые говорят с мальчиками про такие пустяки да еще больно так щиплются, бог знает за что и при всех. Вероятно, мое несчастное лицо отражало все мои недоумения, потому что шалунья хохотала мне в глаза, как безумная, а между тем все сильнее и сильнее щипала и ломала мои бедные пальцы. Она была вне себя от восторга, что удалось-таки нашкольничать, сконфузить бедного мальчика и замистифицировать его в прах. Положение мое было отчаянное. Во-первых, я горел от стыда, потому что все почти кругом нас оборотились к нам, одни в недоумении, другие со смехом, сразу поняв, что красавица что-нибудь напроказила. Кроме того, мне страх как хотелось кричать, потому что она ломала мои пальцы с каким-то ожесточением, именно за то, что я не кричу; а я, как спартаец, решился выдерживать боль, боясь наделать криком суматоху, после которой уж не знаю, что бы случилось со мною. В припадке совершенного отчаяния начал я, наконец, борьбу и принялся из всех сил тянуть к себе свою собственную руку, но тиранка моя была гораздо меня сильнее. Наконец, я не выдержал, вскрикнул, — того только и ждала! Мингом она бросила меня и отвернулась, как ни в чем не бывала, как будто и не она напроказила, а кто другой, ну точь-в-точь какой-нибудь школьник, который, чуть отвернулся учитель, уже успел напроказить где-нибудь по соседству, щипнуть какого-нибудь крошечного слабосильного мальчика, дать ему щелчка, пинка, подтолкнуть ему локоть и мингом опять повернуться, поправиться, уткнувшись в книгу, начать долбить свой урок

и, таким образом, оставить разгневанного господина учителя, бросившегося, подобно ястребу, на шум, — с предлинным и неожиданным носом.

Но, к моему счастью, общее внимание увлечено было в эту минуту мастерской игрой нашего хозяина, который исполнял в игравшейся пьеске, какой-то скрибовской комедии, главную роль. Все зааплодировали; я под шумок скользнул из ряда и забежал на самый конец залы, в противоположный угол, откуда, притаясь за колонной, с ужасом смотрел туда, где сидела коварная красавица. Она все еще хохотала, закрыв платком свои губки. И долго еще она оборачивалась назад, выглядывая меня по всем углам, — вероятно, очень жался, что так скоро кончилась наша сумасбродная схватка, и придумывая, как бы еще что-нибудь напроказить.

Этим началось наше знакомство, и с этого вечера она уже не отставала от меня ни на шаг. Она преследовала меня без меры и совести, сделалась гонительницей, тиранкой моей. Весь комизм ее проделок со мной заключался в том, что она сказалась влюбленною в меня по уши и резала меня при всех. Разумеется, мне, прямому дикарю, все это до слез было тяжело и досадно, так что я уже несколько раз был в таком серьезном и критическом положении, что готов был подраться с моей коварной обожательницей. Мое наивное смущение, моя отчаянная тоска как будто окрыляли ее преследовать меня до конца. Она не знала жалости, а я не знал — куда от нее деваться. Смех, раздававшийся кругом нас и который она умела-таки вызвать, только поджигал ее на новые шалости. Но стали, наконец, находить ее шутки немного слишком далекими. Да и вправду, как пришлось теперь вспомнить, она уже чересчур позволяла себе с таким ребенком, как я.

Но уж такой был характер; была она, по всей форме, баловница. Я слышал потом, что избаловал ее всего более ее же собственный муж, очень толстенький, очень невысокий и очень красивый человек, очень богатый и очень деловой, по крайней мере с виду: вертлявый, хлопотливый; он двух часов не мог прожить на одном месте. Каждый день ездил он от нас в Москву, иногда по два раза, и все, как сам уверял, по делам. Веселее и добродушнее этой комической и между тем всегда порядочной физиономии трудно было сыскать. Он мало

того, что любил жену до слабости, до жалости, — он просто поклонялся ей, как идолу.

Он не стеснялся ее ни в чем. Друзей и подруг у ней было множество. Во-первых, ее мало кто не любил, а во-вторых, ветреница и сама была не слишком разборчива в выборе друзей своих, хотя в основе ее характера было гораздо более серьезного, чем сколько можно предположить, судя по тому, что я теперь рассказал. Но из всех подруг своих она всех больше любила и отличала одну молодую даму, свою дальнюю родственницу, которая теперь тоже была в нашем обществе. Между ними была какая-то нежная, утонченная связь, одна из тех связей, которые зарождаются иногда при встрече двух характеров, часто совершенно противоположных друг другу, но из которых один и строже, и глубже, и чище другого, тогда как другой, с высоким смирением и с благородным чувством самооценки, любовно подчиняется ему, почувствовав все превосходство его над собою, и, как счастье, заключает в сердце своем его дружбу. Тогда-то начинается эта нежная и благородная утонченность в отношениях таких характеров: любовь и снисхождение до конца, с одной стороны, любовь и уважение — с другой, уважение, подходящее до какого-то страха, до боязни за себя в глазах того, кем так высоко дорожишь, и до ревнивого, жадного желания с каждым шагом в жизни все ближе и ближе подходить к его сердцу. Обе подруги были одних лет, но между ними была неизмеримая разница во всем, начиная с красоты. М-ме М* была тоже очень хороша собой, но в красоте ее было что-то особенное, резко выделявшее ее от толпы хорошеньких женщин; было что-то в лице ее, что тотчас же неотразимо влекло к себе все симпатии, или, лучше сказать, что пробуждало благодарную, возвышенную симпатию в том, кто встречал ее. Есть такие счастливые лица. Возле нее всякому становилось как-то лучше, как-то свободнее, как-то теплее, и, однако ж, ее грустные, большие глаза, полные огня и силы, смотрели робко и беспокойно, будто под ежеминутным страхом чего-то враждебного и грозного, и эта странная робость таким унынием покрывала подчас ее тихие, кроткие черты, напоминавшие светлые лица итальянских мадонн, что, смотря на нее, самому становилось скоро так же грустно, как за собственную,

как за родную печаль. Это бледное, похудевшее лицо, в котором сквозь безукоризненную красоту чистых, правильных линий и улыбку суровость глухой, затаенной тоски еще так часто просвечивал первоначальный детский ясный облик, — образ еще недавних доверчивых лет и, может быть, паивного счастья; эта тихая, но несмелая, колебавшаяся улыбка — все это поражало таким безотчетным участием к этой женщине, что в сердце каждого невольно зарождалась сладкая, горячая забота, которая громко говорила за нее еще издали и еще вчуже роднила с нею. Но красавица казалась как-то молчаливою, скрытною, хотя, конечно, не было существа более внимательного и любящего, когда кому-нибудь надобилось сочувствие. Есть женщины, которые точно сестры милосердия в жизни. Перед ними можно ничего не скрывать, по крайней мере ничего, что есть больного и уязвленного в душе. Кто страдает, тот смело и с надеждой идет к ним и не боится быть в тягость, затем, что редкий из нас знает, насколько может быть бесконечно терпеливой любви, сострадания и всепрощения в таком женском сердце. Целые сокровища симпатии, утешения, надежды хранятся в этих чистых сердцах, так часто тоже уязвленных, потому что сердце, которое много любит, много грустит, но где рана бережливо закрыта от любопытного взгляда, затем, что глубокое горе всего чаще молчит и таится. Их же не испугает ни глубина раны, ни гной ее, ни смрад ее: кто к ним подходит, тот уж их достоин; да они, впрочем, как будто и родятся на подвиг... М-не М* была высока ростом, гибка и стройна, но несколько тонка. Все движения ее были как-то неровны, то медленны, плавны и даже как-то важны, то детски скоры, а вместе с тем и какое-то робкое смирение проглядывало в ее жесте, что-то как будто трепещущее и незащищенное, но никого не просившее и не молившее о защите.

Я уже сказал, что непохвальные притязания коварной блондинки стыдили меня, резали меня, язвили меня до крови. Но этому была еще причина тайная, странная, глупая, которую я таил, за которую дрожал, как кашей, и даже при одной мысли о ней, один на один с опрокинутой моей головою, где-нибудь в таинственном, темном углу, куда не досягал инквизиторский.

насмешливый взгляд никакой голубоокой плутовки, при одной мысли об этом предмете я чуть не задыхался от смущения, стыда и боязни. — словом, я был влюблен, то есть положим, что я сказал вздор: этого быть не могло; но отчего же из всех лиц, меня окружавших, только одно лицо уловлялось моим вниманием? Отчего только за нею я любил следить взглядом, хотя мне решительно не до того было тогда, чтоб выглядывать дам и знакомиться с ними? Случалось это всего чаще по вечерам, когда ненастье запирало всех в комнаты и когда я, одиноко притаюсь где-нибудь в углу залы, беспредметно глазел по сторонам, решительно не находя никакого другого занятия, потому что со мной, исключая моих гонительниц, редко кто говорил, и было мне в такие вечера нестерпимо скучно. Тогда всматривался я в окружавшие меня лица, вслушивался в разговор, в котором часто не понимал ни слова, и вот в это-то время тихие взгляды, кроткая улыбка и прекрасное лицо т-те М* (потому что это была она), бог знает почему, уловлялись моим зачарованным вниманием, и уж не изглаживалось это странное, неопределенное, но непостижимо-сладкое впечатление мое. Часто по целым часам я как будто уж и не мог от нее оторваться; я изучил каждый жест, каждое движение ее, вслушался в каждую вибрацию густого серебристого, но несколько заглушенного голоса, и — странное дело! из всех наблюдений своих вынес, вместе с робким и сладким впечатлением, какое-то непостижимое любопытство. Похоже было на то, как будто я допытывался какой-нибудь тайны...

Всего мучительнее для меня были насмешки в присутствии т-те М*. Эти насмешки и комические гонения, по моим понятиям, даже унижали меня. И когда, случалось, раздавался общий смех на мой счет, в котором даже т-те М* иногда невольно принимала участие, тогда я, в отчаянии, вис себя от горя, вырывался от своих тиранок и убегал наверх, где и дичал остальную часть дня, не смея показать своего лица в зале. Впрочем, я и сам еще не понимал ни своего стыда, ни волнения; весь процесс переживался во мне бессознательно. С т-те М* я почти не сказал еще и двух слов, да и, конечно, не решился бы на это. Но вот однажды вечером, после несноснейшего для меня дня, отстал

я от других на прогулке, ужасно устал и пробирался домой через сад. На одной скамье, в уединенной аллее, увидел я т-те М*. Она сидела одна-одинехонька, как будто нарочно выбрав такое уединенное место, склонив голову на грудь и машинально перебирая в руках платок. Она была в такой задумчивости, что и не слышала, как я с ней поравнялся.

Заметив меня, она быстро поднялась со скамьи, отпернулась и, я увидел, наскоро отерла глаза платком. Она плакала. Осушив глаза, она улыбнулась мне и пошла вместе со мною домой. Уж не помню, о чем мы с ней говорили; но она поминутно отсылала меня под разными предлогами: то просила сорвать ей цветок, то посмотреть, кто едет верхом по соседней аллее. И когда я отходил от нее, она тотчас же опять подносила платок к глазам своим и утирала непослушные слезы, которые никак не хотели покинуть ее, все вновь и вновь накаливали в сердце и все лились из ее бедных глаз. Я понимал, что, видно, я ей очень в тягость, когда она так часто меня отсылает, да и сама она уже видела, что я все заметил, но только не могла удержаться и это меня еще более за нее надрывало. Я злился на себя в эту минуту почти до отчаяния, проклинал себя за исловкость и ненаходчивость и все-таки не знал, как ловче отстать от нее, не выказав, что заметил ее горе, но шел рядом с нею, в грустном изумлении, даже в испуге, совсем растерявшись и решительно не находя ни одного слова для поддержки оскудевшего нашего разговора.

Эта встреча так поразила меня, что я весь вечер с жадным любопытством следил потихоньку за т-те М* и не спускал с нее глаз. Но случилось так, что она два раза застала меня врасплох среди моих наблюдений, и во второй раз, заметив меня, улыбнулась. Это была ее единственная улыбка за весь вечер. Грусть еще не сходила с лица ее, которое было теперь очень бледно. Все время она тихо разговаривала с одной пожилой дамой, злой и сварливой старухой, которой никто не любил за шпионство и сплетни, но которой все боялись, а потому и принуждены были всячески угождать ей, волей-неволей...

Часов в десять приехал муж т-те М*. До сих пор я наблюдал за ней очень пристально, не отрывая глаз

от ее грустного лица; теперь же, при неожиданном входе мужа, я видел, как она вся вздрогнула и лицо ее, и без того уж бледное, сделалось вдруг белее платка. Это было так приметно, что и другие заметили: я расслышал в стороне отрывочный разговор, из которого кое-как догадался, что бедной m-me M* не совсем хорошо. Говорили, что муж ее ревнив, как арап, не из любви, а из самолюбия. Прежде всего это был европеец, человек современный, с образчиками новых идей и тщеславящийся своими идеями. С виду это был черно-волосый, высокий и особенно плотный господин, с европейскими бакенбардами, с самодовольным, румяным лицом, с белыми, как сахар, зубами и с безукоризненной джентльменской осанкой. Называли его *умным человеком*. Так в иных кружках называют одну особую породу растолстевшего на чужой счет человечества, которая ровно ничего не делает, которая ровно ничего не хочет делать и у которой, от вечной лени и ничего-неделания, вместо сердца кусок жира. От них же поминутно слышишь, что им нечего делать вследствие каких-то очень запутанных, враждебных обстоятельств, которые «утомляют их гений», и что на них поэтому «грустно смотреть». Это уж у них такая пышная фраза, их *mot d'ordre*, их пароль и лозунг, фраза, которую мои сытые толстяки расточают везде поминутно, что уже давно начинает надоедать, как отъявленное тартифство и пустое слово. Впрочем, некоторые из этих забавников, никак не могущих найти, что им делать, — чего, впрочем, никогда и не искали они, — именно на то метят, чтоб все думали, что у них вместо сердца не жир, а, напротив, говоря вообще, что-то *очень глупое*, но что именно — об этом не сказал бы ничего самый первейший хирург, конечно, из учтивости. Эти господа тем и пробиваются на свете, что устремляют все свои инстинкты на грубое зубоскальство, самое близорукое осуждение и безмерную гордость. Так как им нечего больше делать, как подмечать и затверживать чужие ошибки и слабости, и так как в них доброго чувства ровнешенько настолько, сколько дано его в удел устрице, то им и нетрудно, при таких предохранительных средствах, прожить с людьми довольно осмотрительно. Этим они чрезмерно тщеславятся. Они, например, почти уверены, что у них чуть ли не весь мир на

оброке; что он у них, как устрица, которую они берут про запас; что все, кроме них, дураки; что всяк похож на апельсин или на губку, которую они нет-нет да и выжмут, пока сок надобится; что они всему хозяева и что весь этот похвальный порядок вещей происходит именно оттого, что они такие умные и характерные люди. В своей безмерной гордости они не допускают в себе недостатков. Они похожи на ту породу житейских плутов, прирожденных Тартюфов и Фальстафов, которые до того заплутовались, что, наконец, и сами уверились, что так и должно тому быть, то есть чтоб жить им да плутовать; до того часто уверяли всех, что они честные люди, что, наконец, и сами уверились, будто они действительно честные люди и что их плутовство и есть честное дело. Для совестного внутреннего суда, для благородной самооценки их никогда не хватит; для иных вещей они слишком толсты. На первом плане у них всегда и во всем их собственная золотая особа, их Молох и Ваал, их великолепное я. Вся природа, весь мир для них не более, как одно великолепное зеркало, которое и создано для того, чтоб мой божок непрерывно в него на себя любовался и из-за себя никого и ничего не видел; после этого и немудрено, что все на свете видит он в таком безобразном виде. На все у него припасена готовая фраза, и — что, однако ж, верх ловкости с их стороны — самая модная фраза. Даже они-то и способствуют этой моде, голословно распространяя по всем перекресткам ту мысль, которой почуют успех. Именно у них есть чутье, чтоб пронохать такую модную фразу и раньше других усвоить ее себе, так, что как будто она от них и пошла. Особенно же запасаются они своими фразами на изъявление своей глубочайшей симпатии к человечеству, на определение, что такое самая правильная и оправданная рассудком филантропия и, наконец, чтоб безостановочно карать романтизм, то есть зачастую все прекрасное и истинное, каждый атом которого дороже всей их слизняковой породы. Но грубо не узнают они истины в уклоненной, переходной и неготовой форме и отталкивают все, что еще не поспело, не устоялось и бродит. Упитанный человек всю жизнь прожил навеселе, на всем готовом, сам ничего не сделал и не знает, как трудно всякое дело делается, а потому беда какой-

нибудь шероховатостью задеть его жирные чувства: за это он никогда не простит, всегда припомнит и отомстит с наслаждением. Итог всему выйдет, что мой герой есть не более не менее, как исполнинский, донельзя раздутый мешок, полный сентенций, модных фраз и ярлыков всех родов и сортов.

Но, впрочем, т-г М* имел и особенность, был человек примечательный: это был остряк, говорун и рассказчик, и в гостинных кругом него всегда собирался кружок. В тот вечер особенно ему удалось произвести впечатление. Он овладел разговором; он был в ударе, весел, чему-то рад и заставил-таки всех глядеть на себя. Но т-те М* все время была как больная; лицо ее было такое грустное, что мне поминутно казалось, что вот-вот сейчас задрожат на ее длинных ресницах давешние слезы. Все это, как я сказал, поразило и удивило меня чрезвычайно. Я ушел с чувством какого-то странного любопытства, и всю ночь спился мне т-г М*, тогда как до тех пор я редко видывал безобразные сны.

На другой день рано поутру позвали меня на репетицию живых картин, в которых и у меня была роль. Живые картины, театр и потом бал — все в один вечер, назначались не далее как дней через пять, по случаю домашнего праздника — дня рождения младшей дочери нашего хозяина. На праздник этот, почти импровизированный, приглашены были из Москвы и из окрестных дач еще человек сто гостей, так что много было и возни, и хлопот, и суматохи. Репетиции, или, лучше сказать, смотр костюмов, назначены были не вовремя, поутру, потому что наш режиссер, известный художник Р*, приятель и гость нашего хозяина, по дружбе к нему согласившийся взять на себя сочинение и постановку картин, а вместе с тем и нашу выучку, спешил теперь в город для закупок по бутафорской части и для окончательных заготовлений к празднику, так что времени терять было некогда. Я участвовал в одной картине, вдвоем с т-те М*. Картина выражала сцену из средневековой жизни и называлась: «Госпожа замка и ее паж».

Я почувствовал неизъяснимое смущение, сошедшись с т-те М* на репетиции. Мне так и казалось, что она тотчас же вычитает из глаз моих все думы, сомнения, догадки, зародившиеся со вчерашнего дня в голове

мой. К тому же мне все казалось, что я как будто бы виноват пред нею, застав вчера ее слезы и помешав ее горю, так что она поневоле должна будет коснуться на меня, как на неприятного свидетеля и непрошеного участника ее тайны. Но, слава богу, дело обошлось без больших хлопот: меня просто не заметили. Ей, кажется, было вовсе не до меня и не до репетиции: она была рассеянна, грустна и мрачно задумчива; видно было, что ее мучила какая-то большая забота. Покончив с моею ролью, я побежал переодеться и через десять минут вышел на террасу в сад. Почти в то же время из других дверей вышла и м-ме М*, и как раз нам напротив появился самодовольный супруг ее, который возвращался из сада, только что проводив туда целую группу дам и там успев сдать их с рук на руки какому-то досужему cavalier servant¹. Встреча мужа и жены, очевидно, была неожиданна. М-ме М*, неизвестно почему-то, вдруг смутилась, и легкая досада промелькнула в ее истерпеливом движении. Супруг, беспечно насвистывавший арню и во всю дорогу глубокомысленно охорашивавший свои бакенбарды, теперь, при встрече с женою, нахмурился и оглядел ее, как припоминаю теперь, решительно инквизиторским взглядом.

— Вы в сад? — спросил он, заметив ombrelle и книгу в руках жены.

— Нет, в рошу, — отвечала она, слегка покраснев.

— Одни?

— С ним... — проговорила м-ме М*, указав на меня. — Я гуляю поутру одна, — прибавила она каким-то неровным, неопределенным голосом, точно таким, когда лгут первый раз в жизни.

— Гм... А я только что проводил туда целую компанию. Там все собираются у цветочной беседки провожать Н — го. Он едет, вы знаете... у него какая-то беда случилась там, в Одессе... Ваша кузница (он говорил о блондинке) и смеется и чуть не плачет, все разом, не разберешь ее. Она мне, впрочем, сказала, что вы за что-то сердиты на Н — го и потому не пошли его провожать. Конечно, вздор?

— Она смеется, — отвечала м-ме М*, сходя со ступенек террасы.

¹ услужливому кавалеру (франц.).

— Так это ваш каждодневный *cavalier servant*? — прибавил м-г М*, скривив рот и наведя на меня свой лорнет.

— Паж! — закричал я, рассердившись за лорнет и насмешку, и, захохотав ему прямо в лицо, разом перепрыгнул три ступеньки террасы...

— Счастливого пути! — пробормотал м-г М* и пошел своею дорогою.

Конечно, я тотчас же подошел к м-те М*, как только она указала на меня мужу, и глядел так, как будто она меня уже целый час назад пригласила и как будто я уже целый месяц ходил с ней гулять по утрам. Но я никак не мог разобрать: зачем она так смутилась, сконфузилась и что такое было у ней на уме, когда она решилась прибегнуть к своей маленькой лжи? Зачем она просто не сказала, что идет одна? Теперь я не знал, как и глядеть на нее; но, пораженный удивлением, я, однако ж, пренаивно начал помаленьку заглядывать ей в лицо; но так же, как и час назад, на репетиции, она не примечала ни подглядывавший, ни немых вопросов моих. Все та же мучительная забота, но еще явственнее, еще глубже, чем тогда, отражалась в ее лице, в ее волнении, в походке. Она спешила куда-то, все более и более ускоряя шаг, и с беспокойством заглядывала в каждую аллею, в каждую просеку роши, оборачиваясь к стороне сада. И я тоже ожидал чего-то. Вдруг за нами раздался лошадиный топот. Это была целая кавалькада пездниц и всадников, провожавших того Н — го, который так внезапно покидал наше общество.

Между дамами была и моя блондинка, про которую говорил м-г М*, рассказывая о слезах ее. Но, по своему обыкновению, она хохотала, как ребенок, и резво скакала на прекрасном гнедом коне. Поравнявшись с нами, Н — й снял шляпу, но не остановился и не сказал с м-те М* ни слова. Скоро вся ватага исчезла из глаз. Я взглянул на м-те М* и чуть не вскрикнул от изумления: она стояла бледная, как платок, и крупные слезы пробивались из глаз ее. Случайно наши взгляды встретились: м-те М* вдруг покраснела, на миг отвернулась, и беспокойство и досада ясно замелькали на лице ее. Я был лишний, хуже, чем вчера, — это яснее дня, по куда мне деваться?

Вдруг т-те М*, как будто догадавшись, развернула книгу, которая была у нее в руках, и, закрасневшись, очевидно стараясь не смотреть на меня, сказала, как будто сейчас только спохватилась:

— Ах! это вторая часть, я ошиблась; пожалуйста, принеси мне первую.

Как не понять! моя роль кончилась, и нельзя было прогнать меня по более прямой дороге.

Я убежал с ее книгой и не возвращался. Первая часть преспокойно пролежала на столе это утро...

Но я был сам не свой; у меня билось сердце, как будто в непрерывном испуге. Всеми силами старался я как-нибудь не повстречать т-те М*. Зато я с каким-то диким любопытством глядел на самодовольную особу т-г М*, как будто в нем теперь непременно должно было быть что-то особенное. Решительно не понимаю, что было в этом комическом любопытстве моем; помню только, что я был в каком-то странном удивлении от всего, что привелось мне увидеть в это утро. Но мой день только что начинался, и для меня он был обременен происшествиями.

Обедали на этот раз очень рано. К вечеру назначена была общая увеселительная поездка в соседнее село, на случившийся там деревенский праздник, и потому нужно было время, чтоб приготовиться. Я уж за три дня мечтал об этой поездке, ожидая бездну веселья. Пить кофе почти все собрались на террасе. Я осторожно пробрался за другими и спрятался за тройным рядом кресел. Меня влекло любопытство, и между тем я ни за что не хотел показаться на глаза т-те М*. Но случаю угодно было поместить меня недалеко от моей гонительницы-блондинки. На этот раз с ней приключилось чудо, невозможное дело: она вдвое похорошела. Уж не знаю, как и отчего это делается, но с женщинами такие чудеса бывают даже нередко. Меж нами в эту минуту был новый гость, высокий, бледнолицый молодой человек, записной поклонник нашей блондинки, только что приехавший к нам из Москвы, как будто нарочно за тем, чтоб заманить собой отбывшего Н—го, про которого шла молва, что он отчаянно влюблен в нашу красавицу. Что ж касается приезжего, то он уж издавна был с нею в таких же точно отношениях, как Бенедикт к Беатриче в шекспировском «Много шума из ничего».

Короче, наша красавица в этот день была в чрезвычайном успехе. Ее шутки и болтовня были так грациозны, так доверчиво-наивны, так простиительно-неосторожны; она с такою грациозною самонадеянностью была уверена во всеобщем восторге, что действительно все время была в каком-то особенном поклонении. Вокруг нее не разрывался тесный кружок удивленных, залюбовавшихся на нее слушателей, и никогда еще не была она так обольстительна. Всякое слово ее было в соблазн и в диковинку, ловилось, передавалось вкруговую, и ни одна шутка ее, ни одна выходка не пропала даром. От нее, кажется, и не ожидал никто столько вкуса, блеска, ума. Все лучшие качества ее повседневно были погребены в самом своевольном сумасбродстве, в самом упрямом школьничестве, доходившем чуть ли не до шутовства; их редко кто замечал; а если замечал, так не верил им, так что теперь необыкновенный успех ее встречен был всеобщим страстным шепотом изумления.

Впрочем, этому успеху содействовало одно особенное, довольно щекотливое обстоятельство, по крайней мере судя по той роли, которую играл в то же время муж п-ше М*. Проказница решилась — и нужно прибавить: почти ко всеобщему удовольствию или по крайней мере к удовольствию всей молодежи — ожесточенно атаковать его вследствие многих причин, вероятно, очень важных на ее глаза. Она завела с ним целую перестрелку острот, насмешек, сарказмов самых неотразимых и скользких, самых коварных, замкнутых и гладких со всех сторон, таких, которые бьют прямо в цель, но к которым ни с одной стороны нельзя прицепиться для отпора и которые только истощают в бесплодных усилиях жертву, доводя ее до бешенства и до самого комического отчаяния.

Наверно не знаю, но, кажется, вся эта выходка была преднамеренная, а не импровизированная. Еще за обедом начался этот отчаянный поединок. Я говорю «отчаянный», потому что п-г М* не скоро положил оружие. Ему нужно было собрать все присутствие духа, все остроумие, всю свою редкую находчивость, чтоб не быть разбитым в прах, наголову и не покрыться решительным бесславию. Дело шло при непрерывном и неудержимом смехе всех свидетелей и участников боя. По

крайней мере сегодня непохоже было для него на вчера. Приметно было, что м-те М* несколько раз порывалась остановить своего неосторожного друга, которому, в свою очередь, непременно хотелось нарядить ревнивого мужа в самый шутовской и смешной костюм, и должно полагать, в костюм «Синей Бороды», судя по всем вероятностям, судя по тому, что у меня осталось в памяти, и, наконец, по той роли, которую мне самому привелось играть в этой сшибке.

Это случилось вдруг, самым смешным образом, совсем неожиданно, и, как нарочно, в эту минуту я стоял на виду, не подозревая зла и даже забыв о недавних моих предосторожностях. Вдруг я был выдвинут на первый план, как заклятый враг и естественный соперник м-г М*, как отчаянно, до последней степени влюбленный в жену его, в чем тиранка моя тут же поклялась, дала слово, сказала, что у ней есть доказательства и что не далее, как, например, сегодня в лесу она видела...

Но она не успела договорить, я прервал ее в самую отчаянную для меня минуту. Эта минута была так безбожно рассчитана, так изменнически подготовлена к самому концу, к шутовской развязке, и так уморительно смешно обставлена, что целый взрыв ничем неудержимого, всеобщего смеха отсалютовал эту последнюю выходку. И хотя тогда же я догадался, что не на мою долю выпала самая досадная роль, однако ж был до того смущен, раздражен и испуган, что, полный слез, тоски и отчаяния, задыхаясь от стыда, прорвался чрез два ряда кресел, ступил вперед и, обращаясь к моей тиранке, закричал прерывающимся от слез и негодования голосом:

— И не стыдно вам... вслух... при всех дамах... говорить такую худую... неправду?! вам, точно маленькой... при всех мужчинах... Что они скажут?.. вы — такая большая... замужняя!..

Но я не окончил, — раздался оглушительный аплодисмент. Моя выходка произвела настоящий *figure*. Мой наивный жест, мои слезы, а главное, то, что я как будто выступил защищать м-г М*, все это произвело такой адский смех, что даже и теперь, при одном воспоминании, мне самому становится ужасно смешно... Я оторопел, почти обезумел от ужаса и, сгорев, как

порох, закрыв лицо руками, бросился вон, выбил в дверях поднос из рук входившего лакея и полетел наверх, в свою комнату. Я вырвал из дверей ключ, торчавший наружу, и заперся изнутри. Сделал я хорошо, потому что за мною была погоня. Не прошло минуты, как мои двери осадила целая ватага самых хорошеньких из всех наших дам. Я слышал их звонкий смех, частый говор, их заливавшиеся голоса; они щебетали все разом, как ласточки. Все они, все до одной, просили, умоляли меня отворить хоть на одну минуту; клялись, что не будет мне ни малейшего зла, а только зацелуют они меня всего в прах. Но... что ж могло быть ужаснее еще этой новой угрозы? Я только горел от стыда за мою дверь, спрятав в подушки лицо, и не отпер, даже не отозвался. Они еще долго стучались и молили меня, но я был бесчувствен и глух, как одиннадцатилетний.

Ну, что ж теперь делать? все открыто, все обнаружилось, все, что я так ревниво сберегал и таил... На меня падет вечный стыд и позор!.. По правде, я и сам не умел назвать того, за что так страшился и что хотел бы я скрыть; но ведь, однако ж, я страшился чего-то, за обнаружение этого *чего-то* я трепетал до сих пор, как листочек. Одного только я не знал до этой минуты, что оно такое: годится оно или не годится, славно или позорно, похвально или не похвально? Теперь же, в мучениях и насильной тоске, узнал, что оно *смешно* и *стыдно*! Инстинктом чувствовал я в то же время, что такой приговор и ложен, и бесчеловечен, и груб; но я был разбит, уничтожен; процесс сознания как бы остановился и запутался во мне; я не мог ни противостать этому приговору, ни даже обсудить его хорошенько: я был отуманен; слышал только, что мое сердце бесчеловечно, бесстыдно уязвлено, и заливался бессильными слезами. Я был раздражен; во мне кипели негодование и ненависть, которой я доселе не знал никогда, потому что только в первый раз в жизни испытал серьезное горе, оскорбление, обиду; и все это было действительно так, без всяких преувеличений. Во мне, в ребенке, было грубо затронуте первое, неопытное еще, необразовавшееся чувство, был так рано обнажен и поруган первый благоуханный девственный стыд и осмеяно первое и, может быть, очень серьезное эстетическое впечатление. Конечно, насмешники мои многого не знали и не пред-

чувствовали в моих мучениях. Наполовину входило сюда одно сокровенное обстоятельство, которого сам я и не успел и как-то пугался до сих пор разбираться. В тоске и в отчаянии продолжал я лежать на своей постели, укрыв в подушки лицо; и жар и дрожь обливали меня попеременно. Меня мучили два вопроса: что такое видела и что именно могла увидеть негодная блондинка сегодня в роще между мною и m-me M*? И, наконец, второй вопрос: как, какими глазами, каким средством могу я взглянуть теперь в лицо m-me M* и не погибнуть в ту же минуту на том же месте от стыда и отчаяния.

Необыкновенный шум на дворе вызвал, наконец, меня из полубеспамятства, в котором я находился. Я встал и подошел к окну. Весь двор был загроможден экипажами, верховыми лошадьми и суетившимися слугами. Казалось, все уезжали; несколько всадников уже сидели на конях; другие гости размещались по экипажам... Тут вспомнил я о предстоявшей поездке, и вот мало-помалу беспокойство начало проникать в мое сердце; я пристально начал выглядывать на дворе своего клепера; но клепера не было, — стало быть, обо мне позабыли. Я не выдержал и опрометью побежал вниз, уж не думая ни о неприятных встречах, ни о недавнем позоре своем...

Грозная новость ожидала меня. Для меня на этот раз не было ни верховой лошади, ни места в экипаже: все было разобрано, занято, и я принужден уступить другим.

Пораженный новым горем, остановился я на крыльце и печально смотрел на длинный ряд карет, кабриолетов, колясок, в которых не было для меня и самого маленького уголка, и на нарядных наездниц, под которыми гарцевали нетерпеливые кони.

Одни из всадников почему-то замешкался. Ждали только его, чтоб отправиться. У подъезда стоял конь его, грызя удила, роя копытами землю, поминутно вздрагивая и дыбясь от испуга. Два конюха осторожно держали его под уздцы, и все опасливо стояли от него в почтительном отдалении.

В самом деле, случилось предосадное обстоятельство, по которому мне нельзя было ехать. Кроме того, что наехали новые гости и разобрали все места и всех

лошадей, заболели две верховые лошади, из которых одна была мой клепер. Но не мне одному пришлось пострадать от этого обстоятельства: открылось, что для нового нашего гостя, того бледнолицего молодого человека, о котором я уже говорил, тоже нет верхового коня. Чтоб отворотить неприятность, хозяин наш принужден был прибегнуть к крайности: рекомендовать своего бешеного, невыезженного жеребца, прибавив, для очистки совести, что на нем никак нельзя ездить и что его давно уж положили продать за дикость характера, если, впрочем, найдется па него покупатель. Но предупрежденный гость объявил, что ездит порядочно, да и во всяком случае готов сесть на что угодно, только бы ехать. Хозяин тогда промолчал, но теперь показалось мне, что какая-то двусмысленная и лукавая улыбка бродила на губах его. В ожидании наездника, похвалившегося своим искусством, он сам еще не сядил на свою лошадь, с нетерпением потирал руки и поминутно взглядывал на дверь. Даже что-то подобное сообщилось и двум конюхам, удерживавшим жеребца и чуть не задышавшимся от гордости, видя себя пред всей публикой при таком коне, который нет-нет да и убьет человека ни за что ни про что. Что-то похожее на лукавую усмешку их барина отсвечивалось и в их глазах, выпученных от ожидания и тоже устремленных на дверь, из которой должен был появиться приезжий смельчак. Наконец, и сам конь держал себя так, как будто тоже сговорился с хозяином и жокеями: он вел себя гордо и заносчиво, словно чувствуя, что его наблюдают несколько десятков любопытных глаз и словно гордясь пред всеми зазорной своей репутацией, точь-в-точь, как иной неисправимый повеса гордится своими висельными проделками. Казалось, он вызывал смельчака, который бы решился посягнуть на его независимость.

Этот смельчак, наконец, показался. Совесть, что заставил ждать себя, и торопливо натягивая перчатки, он шел вперед не глядя, спустился по ступенькам крыльца и поднял глаза только тогда, когда протянул было руку, чтоб схватить за холку заждавшегося коня, но вдруг был озадачен бешеным вскоком его на дыбы и предупредительным криком всей испуганной публики. Молодой человек отступил и с недоумением посмотрел

на дикую лошадь, которая вся дрожала, как лист, хрипела от злости и дико поводила налившимися кровью глазами, поминутно оседая на задние ноги и приподымая передние, словно собираясь рвануться на воздух и унести вместе с собою обоих вожатых своих. С минуту он стоял совсем озадаченный; потом, слегка покраснев от малецького замешательства, поднял глаза, обвел их кругом и поглядел на перепугавшихся дам.

— Конь очень хороший! — проговорил он как бы про себя, — и, судя по всему, на нем, должно быть, очень приятно ездить, но... но, знаете что? Ведь я-то не поеду, — заключил он, обращаясь к нашему хозяину с своей широкой, простодушной улыбкой, которая так шла к доброму и умному лицу его.

— И все-таки я вас считаю превосходным ездоком, клянусь вам, — отвечал обрадованный владелец педоступного коня, горячо и даже с благодарностью пожимая руку своего гостя, — именно за то, что вы с первого раза догадались, с каким зверем имеете дело, — прибавил он с достоинством. — Поверите ли мне, я, двадцать три года прослуживший в гусарах, уже три раза имел наслаждение лежать на земле по его милости, то есть ровно столько раз, сколько садился на этого... дармоседа. Танкред, друг мой, здесь не по тебе народ; видно, твой седок какой-нибудь Илья Муромец и сидит теперь сиднем в селе Карачарове да ждет, чтоб у тебя вынашли зубы. Ну, уведите его! Полно ему людей пугать! Напрасно только выводили, — заключил он, самодовольно потирая руки.

Нужно заметить, что Танкред не приносил ему ни малейшей пользы, только даром хлеб ел; кроме того, старый гусар погубил на нем всю свою бывалую ремонтерскую славу, заплатив баснословную цену за негодного дармоседа, который выезжал разве только на своей красоте... Все-таки теперь был он в восторге, что его Танкред не уронил своего достоинства, спешил еще одного наездника и тем стяжал себе новые, бестолковые лавры.

— Как, вы не едете? — закричала блондинка, которой непременно пужно было, чтоб ее cavalier servant на этот раз был при ней, — неужели вы трусите?

— Ей-богу же, так! — отвечал молодой человек.

— И вы говорите серьезно?

— Послушайте, неужели ж вам хочется, чтоб я сломал себе шею?

— Так садитесь же скорее на мою лошадь: не бойтесь, она пресмирная. Мы не задержим; миг переседлают! Я попробую взять вашу; не может быть, чтоб Танкред всегда был такой неучтивый.

Сказано — сделано! Шалунья выпрыгнула из седла и договорила последнюю фразу, уже остановясь перед нами.

— Плохо ж вы знаете Танкрета, коли думаете, что он позволит оседлать себя вашим негодным седлом! Да и вас я не пущу сломать себе шею; это, право, было бы жалко! — проговорил наш хозяин, аффектируя, в эту минуту внутреннего довольства, по своей всегдашней привычке, и без того уже аффектированную и изученную резкость и даже грубость своей речи, что, по его мнению, рекомендовало добряка, старого служаку и особенно должно было нравиться дамам. Это была одна из его фантазий, его любимый, всем нам знакомый конек.

— Ну-тка ты, плакса, не хочешь ли попробовать? тебе же так хотелось ехать, — сказала храбрая наездница, заметив меня, и, поддразнивая, кивнула на Танкрета — собственно для того, чтоб не уходить ни с чем, коли уж даром пришлось встать с коня и не оставить меня без колючего словца, коли уж я сам оплошал, на глаза подвернулся.

— Ты, верно, не таков, как... ну, да что говорить, известный герой и постыдишься струсить; особенно когда на вас будут смотреть, прекрасный паж, — прибавила она, бегло взглянув на m-me M *, экипаж которой был всех ближе от крыльца.

Ненависть и чувство мщенья заливали мое сердце, когда прекрасная амазонка подошла к нам в намерении сесть на Танкрета... Но не могу рассказать, что ощутил я при этом неожиданном вызове школьницы. Я как будто света невидел, когда поймал ее взгляд на m-me M *. Миг в голове у меня загорелась идея... да, впрочем, это был только миг, менее чем миг, как вспышка пороха, или уж переполнилась мера и я вдруг теперь возмущился всем воскресшим духом моим, да так, что мне вдруг захотелось срезать наповал всех

врагов моих и отмстить им за все и при всех, показав теперь, каков я человек; или, наконец, каким-нибудь дивом научил меня кто-нибудь в это мгновение средней истории, в которой я до сих пор еще не знал ни аза, и в закружившейся голове моей замелькали турниры, палатны, герон, прекрасные дамы, слава и победители; послышались трубы герольдов, звуки шпага, крики и плески толпы, и между всеми этими криками один робкий крик одного испуганного сердца, который нежит гордую душу слаще победы и славы, — уж не знаю, случился ли тогда весь этот вздор в голове моей, или, толковее, предчувствие этого, еще грядущего и неизбежного вздора, но только я услышал, что бьет мой час. Сердце мое вспрыгнуло, дрогнуло, и сам уж не помню, как в один прыжок соскочил я с крыльца и очутился подле Танкреда.

— А вы думаете, что я испугаюсь? — вскрикнул я дерзко и гордо, невзвидев света от своей горячки, задыхаясь от волнения и покрасневшись так, что слезы обожгли мне щеки. — А вот увидите! — И, схватившись за холку Танкреда, я стал ногой в стремя, прежде чем успели сделать малейшее движение, чтоб удержать меня; но в этот миг Танкред взвился на дыбы, взметнул головой, одним могучим скачком вырвался из рук остолебеневших конюхов и полетел, как вихрь, только все ахнули да вскрикнули.

Уж бог знает как удалось мне занести другую ногу на всем лету; не постигаю также, каким образом случилось, что я не потерял поводов. Танкред вынес меня за решетчатые ворота, круто повернул направо и пустился мимо решетки зря, не разбирая дороги. Только в это мгновение расслышал я за собою крик пятидесяти голосов, и этот крик отдался в моем замирающем сердце таким чувством довольства и гордости, что я никогда не забуду этой сумасшедшей минуты моей детской жизни. Вся кровь мне хлынула в голову, оглушила меня и залила, задавила мой страх. Я себя не помнил. Действительно, как пришлось теперь вспомнить, во всем этом было как будто и впрямь что-то рыцарское.

Впрочем, все мое рыцарство началось и кончилось менее чем в миг, не то рыцарю было бы худо. Да и тут я не знаю, как спастся. Ездить-то верхом я умел: меня учили. Но мой клепер ходил скорее на овцу, чем на

верхового коня. Разумеется, я бы слетел с Танкреда, если б ему было только время сбросить меня; но, проскакав шагов пятьдесят, он вдруг испугался огромного камня, который лежал у дороги, и шархнулся назад. Он повернулся на лету, но так круто, как говорится, очертя голову, что мне и теперь задача: каким образом я не выпрыгнул из седла, как мячик, сажени на три, и не разбился вдребезги, а Танкред от такого крутого поворота не слечил себе ног. Он бросился назад к воротам, яростно мотая головой, прядая из стороны в сторону, будто охмелевший от бешенства, взметывая ноги как попало на воздух и с каждым прыжком стрясая меня со спины, точно как будто на него вспрыгнул тигр и впился в его мясо зубами и когтями. Еще мгновение — и я бы слетел; я уже падал; но уже несколько всадников летело спасать меня. Двое из них перехватили дорогу в поле; двое других подскакали так близко, что чуть не раздавили мне ног, стиснув с обеих сторон Танкреда боками своих лошадей, и оба уже держали его за поводья. Через несколько секунд мы были у крыльца.

Меня сняли с коня, бледного, чуть дышавшего. Я весь дрожал, как былинка под ветром, так же как и Танкред, который стоял, упираясь всем телом назад, неподвижно, как будто врывшись копытами в землю, тяжело выпуская пламенное дыхание из красных, дымящихся ноздрей, весь дрожа, как лист, мелкой дрожью и словно остолбенев от оскорбления и злости за ненаказанную дерзость ребенка. Кругом меня раздавались крики смутения, удивления, испуга.

В эту минуту блуждавший взгляд мой встретился со взглядом м-те М*, встревоженной, побледневшей, и — я не могу забыть этого мгновения — вмиг все лицо мое облилось румянцем, зарделось, загорелось, как огонь; я уж не знаю, что со мной сделалось, но, смущенный и испуганный собственным своим ощущением, я робко опустил глаза в землю. Но мой взгляд был замечен, пойман, украден у меня. Все глаза обратились к м-те М*, и, застигнутая всеобщим вниманием врасплох, она вдруг сама, как дитя, покраснелась от какого-то противовольного и наивного чувства и через силу, хотя весьма неудачно, старалась подавить свою краску смехом...

Все это, если взглянуть со стороны, конечно, было очень смешно; но в это мгновение одна пренаивная и неожиданная выходка спасла меня от всеобщего смеха, придав особый колорит всему приключению. Винница всей суматохи, та, которая до сих пор была непримиримым врагом моим, прекрасная тиранка моя, вдруг бросилась ко мне обнимать и целовать меня. Она смотрела, не веря глазам своим, когда я осмелился принять ее вызов и поднять перчатку, которую она бросила мне, взглянув на *м-ше М**. Она чуть не умерла за меня от страха и укоров совести, когда я летал на Танкреде; теперь же, когда все было кончено и особенно когда она поймала, вместе с другими, мой взгляд, брошенный на *м-ше М**, мое смущение, мою внезапную краску, когда, наконец, удалось ей придать этому мгновению, по романтическому настроению своей легкодумной головки, какую-то новую, потаенную, недосказанную мысль, — теперь, после всего этого, она пришла в такой восторг от моего «рыцарства», что бросилась ко мне и прижала меня к груди своей, растроганная, гордая за меня, радостная. Через минуту она подняла на всех толпившихся около нас обоих самое наивное, самое строгое личико, на котором дрожали и светились две маленькие, хрустальные слезинки, и серьезным, важным голоском, какого от нее никогда не слышали, сказала, указав на меня: «*Mais c'est très sérieux, messieurs, ne riez pas!*»¹ — не замечая того, что все стоят перед нею, как замороженные, залюбовавшись на ее светлый восторг. Все это неожиданное, быстрое движение ее, это серьезное личико, эта простодушная наивность, эти неподозреваемые до сих пор сердечные слезы, накипевшие в ее вечно смеющихся глазках, были в ней таким неожиданным дивом, что все стояли перед нею как будто наэлектризованные ее взглядом, скорым, огненным словом и жестом. Казалось, никто не мог свести с нее глаз, боясь опустить эту редкую минуту в ее вдохновенном лице. Даже сам хозяин наш покраснел, как тюльпан, и уверяют, будто бы слышали, как он потом признавался, что, «к стыду своему», чуть ли не целую минуту был влюблен в свою прекрасную гостью. Ну, уж разумеется, что после всего этого я был рыцарь, герой.

¹ Но это очень серьезно, господа, не смеитесь! (франц.)

— Делорж! Тогенбург! — раздавалось кругом.

Послышались рукоплескания.

— Ай да грядущее поколение! — прибавил хозяин.

— Но он поедет, он непременно поедет с нами! — закричала красавица, — мы найдем и должны найти ему место. Он сядет рядом со мною, ко мне на колени... иль нет, нет! я ошиблась!.. — поправилась она, захохотав и будучи не в силах удержать своего смеха при воспоминании о нашем первом знакомстве. Но, хохоча, она нежно гладила мою руку, всеми силами старалась меня заласкать, чтоб я не обиделся.

— Непременно! непременно! — подхватили несколько голосов, — он должен ехать, он завоевал себе место. И мигом разрешилось дело. Та самая старая дева, которая познакомила меня с блондинкой, тотчас же была засыпана просьбами всей молодежи остаться дома и уступить мне свое место, на что и принуждена была согласиться, к своей величайшей досаде, улыбаясь и втихомолку шипя от злости. Ее протектриса, около которой витала она, мой бывший враг и недавний друг, кричала ей, уже галопируя на своем резвом коне и хохоча, как ребенок, что завидует ей и сама бы рада была с ней остаться, потому что сейчас будет дождь и нас всех перемочит.

И она точно напророчила дождь. Через час поднялся целый ливень, и прогулка наша пропала. Пришлось переждать несколько часов сряду в деревенских избах и возвращаться домой уже в десятом часу, в сырое, последождное время. У меня началась маленькая лихорадка. В ту самую минуту, как надо было садиться и ехать, м-ме М* подошла ко мне и удивилась, что я в одной курточке и с открытой шеей. Я отвечал, что не успел захватить с собою плаща. Она взяла булавку и, зашпилив повыше сборчатый воротничок моей рубашки, сняла с своей шеи газовый пунцовый платочек и обвязала мне шею, чтоб я не простудил горло. Она так торопилась, что я даже не успел поблагодарить ее.

Но когда приехали домой, я отыскал ее в маленькой гостиной, вместе с блондинкой и с бледнолицым молодым человеком, который стяжал сегодня славу наездника тем, что побоялся сесть на Танкреду. Я подошел благодарить и отдать платок. Но теперь, после

всех моих приключений, мне было как будто чего-то совестно; мне скорее хотелось уйти наверх и там, на досуге, что-то обдумать и рассудить. Я был переполнен впечатлениями. Отдавая платок, я, как водится, покраснел до ушей.

— Бьюсь об заклад, что ему хотелось удержать платок у себя, — сказал молодой человек, засмеявшись, — по глазам видно, что ему жаль расстаться с вашим платком.

— Именно, именно так! — подхватила блондинка. — Экой! ах!.. — проговорила она с приметной досадой и покачав головой, но остановилась вовремя перед серьезным взглядом m-me M*, которой не хотелось заводить далеко шутки.

Я поскорее отошел.

— Ну, какой же ты! — заговорила школьница, нагнав меня в другой комнате и дружески взяв за обе руки, — да ты бы просто не отдавал косынки, если тебе так хотелось иметь ее. Сказал, что где-нибудь положил, и дело с концом. Какой же ты! этого не умел сделать! Экой смешной!

И тут она слегка ударила меня пальцем по подбородку, засмеявшись тому, что я покраснел, как мак:

— Ведь я твой друг теперь, так ли? Кончена ли наша вражда, а? да или нет?

Я засмеялся и молча пожал ее пальчики.

— Ну, то-то же!.. Отчего ты так теперь бледен и дрожишь? У тебя озноб?

— Да, я нездоров.

— Ах, бедняжка! это у него от сильных впечатлений! Знаешь что? иди-ка лучше спать, не дожидаясь ужина, и за ночь пройдет. Пойдем.

Она отвела меня наверх, и казалось, уходом за мною не будет конца. Оставив меня раздеваться, она сбежала вниз, достала мне чаю и принесла его сама, когда уже я улегся. Она принесла мне тоже теплое одеяло. Меня очень поразили и растрогали все эти уходы и заботы обо мне, или уж я был так настроен целым днем, поездкой, лихорадкой; но, прощаясь с нею, я крепко и горячо ее обнял, как самого нежного, как самого близкого друга, и уж тут все впечатления разом прихлынули к моему ослабевшему сердцу; я чуть не плакал, прижавшись к груди ее. Она заметила мою

впечатлительность, и, кажется, моя шалуныя сама была немного тропута...

— Ты предобрый мальчик, — прошептала она, смотря на меня тихими глазками, — пожалуйста же, не сердись на меня, а? не будешь?

Словом, мы стали самыми нежными, самыми верными друзьями.

Было довольно рано, когда я проснулся, но солнце заливало уже ярким светом всю комнату. Я вскочил с постели, совершенно здоровый и бодрый, как будто и не бывало вчерашней лихорадки, вместо которой теперь ощущал я в себе неизъяснимую радость. Я вспомнил вчерашнее и почувствовал, что отдал бы целое счастье, если б мог в эту минуту обняться, как вчера, с моим новым другом, с белокурой нашей красавицей; но еще было очень рано и все спали. Наскоро одевшись, сошел я в сад, а оттуда в рощу. Я пробирался туда, где гуще зелень, где смолистее запах деревьев и куда веселее заглядывал солнечный луч, радуясь, что удалось там и сям пронизать мгlistую густоту листьев. Было прекрасное утро.

Незаметно пробираясь все далее и далее, я вышел, наконец, на другой край рощи, к Москве-реке. Она текла шагов двести впереди, под горою. На противоположном берегу косили сено. Я засмотрелся, как целые ряды острых кос, с каждым взмахом косца, дружно обливались светом и потом вдруг опять исчезали, как огненные змейки, словно куда прятались; как срезанная с корня трава густыми жирными грудками отлетала в стороны и укладывалась в прямые, длинные борозды. Уж не помню, сколько времени провел я в созерцании, как вдруг очнулся, расслышав в роще, шагах от меня в двадцати, в просеке, которая пролегла от большой дороги к господскому дому, храп и нетерпеливый топот коня, рывшего копытом землю. Не знаю, слышал ли я этого коня тотчас же, как подъехал и остановился всадник, или уж долго мне слышался шум, но только напрасно щекотал мне ухо, бессильный оторвать меня от моих мечтаний. С любопытством вошел я в рощу и, пройдя несколько шагов, услышал голоса, говорившие скоро, но тихо. Я подошел еще ближе, бережно раздвинул последние ветви последних кустов, окаймлявших просеку, и тотчас же отпрянул назад в изумлении:

в глазах моих мелькнуло белое знакомое платье, и тихий женский голос отдался в моем сердце как музыка. Это была м-ше М*. Она стояла возле всадника, который торопливо говорил ей с лошади, и, к моему удивлению, я узнал в нем Н — го, того молодого человека, который уехал от нас еще вчера поутру и о котором так хлопотал м-г М*. Но тогда говорили, что он уезжает куда-то очень далеко, на юг России, а потому я очень удивился, увидев его опять у нас так рано и одного с м-ше М*.

Она была одушевлена и взволнована, как никогда еще я не видал ее, и на щеках ее светились слезы. Молодой человек держал ее за руку, которую целовал, нагибаясь с седла. Я застал уже минуту прощанья. Кажется, они торопились. Наконец, он вынул из кармана запечатанный пакет, отдал его м-ше М*, обнял ее одною рукою, как и прежде не сходя с лошади, и поцеловал крепко и долго. Мгновение спустя он ударил коня и промчался мимо меня, как стрела. М-ше М* несколько секунд провожала его глазами, потом задумчиво и уныло направилась к дому. Но, сделав несколько шагов по просеке, вдруг как будто очнувшись, торопливо раздвинула кусты и пошла через рощу.

Я пошел вслед за нею, смятенный и удивленный всем тем, что увидел. Сердце мое билось крепко, как от испуга. Я был как оцепенелый, как отуманенный; мысли мои были разбиты и рассеяны; но помню, что было мне отчего-то ужасно грустно. Изредка мелькало передо мною сквозь зелень ее белое платье. Машинально следовал я за нею, не упуская ее из вида, но трепеща, чтоб она меня не заметила. Наконец, она вышла на дорожку, которая вела в сад. Переждав с полминуты, вышел и я; но каково же было мое изумление, когда вдруг заметил я на красном песке дорожки запечатанный пакет, который узнал с первого взгляда, — тот самый, который десять минут назад был вручен м-ше М*.

Я поднял его: со всех сторон белая бумага, никакой надписи, на взгляд — небольшой, но тугий и тяжелый, как будто в нем было листа три и более почтовой бумаги.

Что значит этот пакет? Без сомнения, им объяснилась бы вся эта тайна. Может быть, в нем досказано

было то, чего не надеялся высказать Н — ой за короткостью торопливого свидания. Он даже не сходил с лошади... Торопился ли он, или, может быть, боялся изменить себе в час прощания, — бог знает...

Я остановился, не выходя на дорожку, бросил на нее пакет на самое видное место и не спускал с него глаз, полагая, что м-ме М* заметит потерю, возвратится, будет искать. Но, прождав минуты четыре, я не выдержал, поднял опять свою находку, положил в карман и пустился догонять м-ме М*. Я настиг ее уже в саду, в большой аллее; она шла прямо домой, скорой и торопливой походкой, но задумавшись и потупив глаза в землю. Я не знал, что делать. Подойти, отдать? Это значило сказать, что я знаю все, видел все. Я изменил бы себе с первого слова. И как я буду смотреть на нее? Как она будет смотреть на меня?.. Я все ожидал, что она опомнится, хватится потерянного, возвратится по следам своим. Тогда бы я мог, незамеченный, бросить пакет на дорогу, и она бы нашла его. Но нет! Мы уже подходили к дому; ее уже заметили...

В это утро, как нарочно, почти все поднялись очень рано, потому что еще вчера, вследствие неудавшейся поездки, задумали новую, о которой я и не знал. Все готовились к отъезду и завтракали на террасе. Я переждал минут десять, чтоб не видели меня с м-ме М*, и, обойдя сад, вышел к дому с другой стороны, гораздо после нее. Она ходила взад и вперед по террасе, бледная и встревоженная, скрестив на груди руки и, по всему было видно, крепясь и усиливаясь подавить в себе мучительную, отчаянную тоску, которая так и вычитывалась в ее глазах, в ее ходьбе, во всяком движении. Иногда сходила она со ступенек и проходила несколько шагов между клумбами по направлению к саду; глаза ее нетерпеливо, жадно, даже неосторожно искали чего-то на песке дорожек и на полу террасы. Не было сомнения; она хватилась потери и, кажется, думает, что обронила пакет где-нибудь здесь, около дома, — да, это так, и она в этом уверена!

Кто-то, а затем и другие, заметили, что она бледна и встревожена. Посыпались вопросы о здоровье, досадные сетования; она должна была отшучиваться, смеяться, казаться веселою. Изредка взглядывала она на мужа, который стоял в конце террасы, разговаривая

с двумя дамами, и та же дрожь, то же смущение, как и тогда, в первый вечер приезда его, охватывали бедную. Засунув руку в карман и крепко держа в ней пакет, я стоял поодаль от всех, моля судьбу, чтоб м-ме М* меня заметила. Мне хотелось ободрить, успокоить ее, хоть бы только взглядом; сказать ей что-нибудь мельком, украдкой. Но когда она случайно взглянула на меня, я вздрогнул и потупил глаза.

Я видел ее мучения и не ошибся. Я до сих пор не знаю этой тайны, ничего не знаю, кроме того, что сам видел и что сейчас рассказал. Эта связь, может быть, не такова, как о ней предположить можно с первого взгляда. Может быть, этот поцелуй был прощальный, может быть, он был последнею, слабой наградой за жертву, которая была принесена ее спокойствию и чести. Н — ой уезжал; он оставлял ее, может быть, навсегда. Наконец, даже письмо это, которое я держал в руках, — кто знает, что оно заключало? Как судить и кому осуждать? А между тем, в этом нет сомнения, внезапное обнаружение тайны было бы ужасом, громовым ударом в ее жизни. Я еще помню лицо ее в ту минуту: нельзя было больше страдать. Чувствовать, знать, быть уверенной, ждать как казни, что через четверть часа, через минуту могло быть обнаружено все; пакет кем-нибудь найден, поднят; он без надписи, его могут вскрыть, а тогда... что тогда? Какая казнь ужаснее той, которая ее ожидает? Она ходила между будущих судей своих. Через минуту их улыбавшися, льстивые лица будут грозны и неумолимы. Она прочтет насмешку, злость и ледяное презрение на этих лицах, а потом настанет вечная, безрассветная ночь в ее жизни... Да, я тогда не понимал всего этого так, как теперь об этом думаю. Мог я только подозревать и предчувствовать да болеть сердцем за ее опасность, которую даже не совсем сознавал. Но что бы ни заключалось в ее тайне, — теми скорбными минутами, которых я был свидетелем и которых никогда не забуду, было искуплено многое, если только нужно было что-нибудь искупить.

Но вот раздался веселый призыв к отъезду; все радостно засуетились; со всех сторон раздался резвый говор и смех. Через две минуты терраса опустела. М-ме М* отказалась от поездки, сознавшись, наконец, что она нездорова. Но, слава богу, все отправились, все

торопились, и докучать сетованиями, расспросами и советами было некогда. Немногие оставались дома. Муж сказал ей несколько слов; она отвечала, что сегодня же будет здорова, чтоб он не беспокоился, что ложиться ей не для чего, что она пойдет в сад, одна... со мною... Тут она взглянула на меня. Ничего не могло быть счастливее! Я покраснел от радости; через минуту мы были в дороге.

Она пошла по тем самым аллеям, дорожкам и тропинкам, по которым недавно возвращалась из рощи, инстинктивно припоминая свой прежний путь, неподвижно смотря перед собою, не отрывая глаз от земли, нища на ней, не отвечая мне, может быть забыв, что я иду вместе с нею.

Но когда мы дошли почти до того места, где я поднял письмо и где кончалась дорожка, м-те М* вдруг остановилась и слабым, замедленным от тоски голосом сказала, что ей хуже, что она пойдет домой. Но, дойдя до решетки сада, она остановилась опять, подумала с минуту; улыбка отчаяния показалась на губах ее, и, вся обессиленная, измученная, решившись на все, покорившись всему, она молча воротилась на первый путь, в этот раз позабыв даже предупредить меня...

Я разрывался от тоски и не знал, что делать.

Мы пошли, или, лучше сказать, я привел ее к тому месту, с которого услышал, час назад, топот коня и их разговор. Тут, вблизи густого вяза, была скамья, иссеченная в огромном цельном камне, вокруг которого обвивался плющ и росли полевой жасмин и шиповник. (Вся эта рощица была усеяна мостиками, беседками, гrotтами и тому подобными сюрпризами.) М-те М* села на скамейку, бессознательно взглянув на дивный пейзаж, расстилавшийся перед нами. Через минуту она развернула книгу и неподвижно приковалась к ней, не перелистывая страниц, не читая, почти не сознавая, что делает. Было уже половина десятого. Солнце взошло высоко и пышно плыло над нами по синему, глубокому небу, казалось, расплавляясь в собственном огне своем. Косари ушли уже далеко; их едва было видно с нашего берега. За ними неотвязчиво ползли бесконечные борозды скошенной травы, и изредка чуть шевелившийся ветерок веял на нас ее благовонной испариной. Кругом стоял неумолкаемый концерт тех, которые «не жнут

не сеют», а своевольны, как воздух, рассекаемый их незримыми крыльями. Казалось, что в это мгновение каждый цветок, последняя былинка, курясь жертвенным роматом, говорила создавшему ее: «Отец! я блаженна счастлива!..»

Я взглянул на бедную женщину, которая одна была как мертвец среди всей этой радостной жизни: на ресницах ее неподвижно остановились две крупные слезы, отравленные острою болью из сердца. В моей власти было оживить и осчастливить это бедное, замиравшее сердце, и я только не знал, как приступить к тому, как сделать первый шаг. Я мучился. Сто раз порывался я подойти к ней, и каждый раз какое-то невозбранное чувство приковывало меня на месте, и каждый раз как огонь горело лицо мое.

Вдруг одна светлая мысль озарила меня. Средство было найдено; я воскрес.

— Хотите, я вам букет нарву! — сказал я таким радостным голосом, что м-ме М* вдруг подняла голову и пристально посмотрела на меня.

— Принеси, — проговорила она, наконец, слабым голосом, чуть-чуть улыбувшись и тотчас же опять опустив глаза в книгу.

— А то и здесь, пожалуй, скосят траву и не будет цветов! — закричал я, весело пускаясь в поход.

Скоро я набрал мой букет, простой, бедный. Его бы стыдно было внести в комнату; но как весело билось мое сердце, когда я собирал и вязал его! Шиповнику и полевого жасмина взял я еще на месте. Я знал, что недалеко есть нива с дозревавшей рожью. Туда я сбегал за васильками. Я перемешал их с длинными колосьями ржи, выбрав самые золотые и тучные. Тут же, недалеко, попалось мне целое гнездо незабудок, и букет мой уже начинал пополняться. Далее, в поле, нашлись синие колокольчики и полевая гвоздика, а за водяными, желтыми лилиями сбегал я на самое побережье реки. Наконец, уже возвращаясь на место и зайдя на миг в рощу, чтоб промыслить несколько ярко-зеленых, лапчатых листьев клена и обернуть ими букет, я случайно набрал на целое семейство анютиных глазок, вблизи которых, на мое счастье, ароматный фиалковый запах обличал в сочной, густой траве пританцованный цветок, еще весь обсыпанный блестящими каплями росы. Букет

был готов. Я перевязал его длинной, тонкой травой, которую свил в бечеву, и во внутрь осторожно вложил письмо, прикрыв его цветами, но так, что его очень можно было заметить, если хоть маленьким вниманием подарят мой букет.

Я понес его к т-те М*.

Дорогой показалось мне, что письмо лежит слишком на виду: я побольше прикрыв его. Подойдя еще ближе, я вдвинул его еще плотнее в цветы и, наконец, уже почти дойдя до места, вдруг сунул его так глубоко во внутрь букета, что уже ничего не было заметно снаружи. На щеках моих горело целое пламя. Мне хотелось закрыть руками лицо и тотчас бежать, но она взглянула на мои цветы так, как будто совсем позабыла, что я пошел набирать их. Машинально, почти не глядя, протянула она руку и взяла мой подарок, но тотчас же положила его на скамью, как будто я затем и передавал ей его, и снова опустила глаза в книгу, точно была в забытьи. Я готов был плакать от неудачи. «Но только б мой букет был возле нее, — думал я, — только бы она о нем не забыла!» Я лег неподалеку на траву, положил под голову правую руку и закрыл глаза, будто меня одолевал сон. Но я не спускал с нее глаз и ждал...

Прошло минут десять; мне показалось, что она все больше и больше бледнела... Вдруг благословенный случай пришел мне на помощь.

Это была большая золотая пчела, которую принес добрый ветерок мне на счастье. Она пожужжала сперва над моей головою и потом подлетела к т-те М*. Та отмахнулась было рукою один и другой раз, но пчела, будто нарочно, становилась все неотвязчивее. Наконец, т-те М* схватила мой букет и махнула им перед собою. В этот миг пакет вырвался из-под цветов и упал прямо в раскрытую книгу. Я вздрогнул. Некоторое время т-те М* смотрела, немая от изумления, то на пакет, то на цветы, которые держала в руках, и, казалось, не верила глазам своим... Вдруг она покраснела, вспыхнула и взглянула на меня. Но я уже перехватил ее взгляд и крепко закрыл глаза, притворяясь спящим; ни за что в мире я бы не взглянул теперь ей прямо в лицо. Сердце мое замирало и билось, словно пташка, попавшая в лапки кудрявого, деревенского

мальчугана. Не помню, сколько времени пролежал я, закрыв глаза: минуты две-три. Наконец, я осмелился их открыть. М-ме М* жадно читала письмо, и, по разгоревшимся ее щекам, по сверкавшему, слезящемуся взгляду, по светлому лицу, в котором каждая черточка трепетала от радостного ощущения, я догадался, что счастье было в этом письме и что развеяна, как дым, вся тоска ее. Мучительно-сладкое чувство присосалось к моему сердцу, тяжело было мне притворяться...

Никогда не забуду я этой минуты!

Вдруг, еще далеко от нас, послышались голоса:

— Madame M*! Nataliel Nataliel

М-ме М* не отвечала, но быстро поднялась со скамьи, подошла ко мне и наклонилась надо мною. Я чувствовал, что она смотрит мне прямо в лицо. Ресницы мои задрожали, но я удержался и не открыл глаз. Я старался дышать ровнее и спокойнее, но сердце задушало меня своими смятенными ударами. Горячее дыхание ее палило мои щеки; она близко-близко нагнулась к лицу моему, словно испытывая его. Наконец, поцелуй и слезы упали на мою руку, на ту, которая лежала у меня на груди. И два раза она поцеловала ее.

— Nataliel Nataliel где ты? — послышалось снова уже очень близко от нас.

— Сейчас! — проговорила м-ме М* своим густым, серебристым голосом, но заглушенным и дрожавшим от слез и так тихо, что только я один мог слышать ее, — сейчас!

Но в этот миг сердце, наконец, изменило мне и, казалось, высало всю свою кровь мне в лицо. В тот же миг скорый, горячий поцелуй обжег мои губы. Я слабо вскрикнул, открыл глаза, но тотчас же на них упал вчерашний газовый платочек ее, — как будто она хотела закрыть меня от солнца. Мгновенно спустя ее уже не было. Я расслышал только шелест торопливо удалявшихся шагов. Я был один.

Я сорвал с себя ее косынку и целовал ее, не помня себя от восторга; несколько минут я был как безумный!.. Едва переводя дух, облокотясь на траву, глядел я бессознательно и неподвижно перед собою, на окрестные холмы, пестревшие нивами, на реку, извилисто обтекавшую их, и далеко, как только мог следить глаз,

вьющуюся между новыми холмами и селами, мелькавшими, как точки, по всей, залитой светом, дали, — на синие, чуть видневшиеся леса, как будто курившиеся на краю раскаленного неба, и какое-то сладкое затишье, будто навеянное торжественною тишиною картины, мало-помалу смирило мое возмущенное сердце. Мне стало легче, и я вздохнул свободнее... Но вся душа моя как-то глухо и сладко томилась, будто прозрением чего-то, будто каким-то предчувствием. Что-то робко и радостно отгадывалось испуганным сердцем моим, слегка трепетавшим от ожидания... И вдруг грудь моя заколебалась, заняла словно от чего-то произошедшего ее, и слезы, сладкие слезы брызнули из глаз моих. Я закрыл руками лицо и, весь трепеща, как былинка, невозбранно отдался первому сознанию и откровенно сердца, первому, еще неясному прозрению природы моей... Первое детство мое кончилось с этим мгновением.

Когда, через два часа, я воротился домой, то не нашел уже т-те М*: она уехала с мужем в Москву, по какому-то внезапному случаю. Я уже никогда более не встречался с нею.

СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ

Рассказ

Этот скверный анекдот случился именно в то самое время, когда началось с такою неудержимою силою и с таким трогательно-наивным порывом возрождение нашего любезного отечества и стремление всех доблестных сынов его к новым судьбам и надеждам. Тогда, однажды зимой, в ясный и морозный вечер, впрочем часу уже в двенадцатом, три чрезвычайно почтенные мужа сидели в комфортной и даже роскошно убранной комнате в одном прекрасном двухэтажном доме на Петербургской стороне и занимались солидным и превосходным разговором на весьма любопытную тему. Эти три мужа были все трое в генеральских чинах. Сидели они вокруг маленького столика, каждый в прекрасном, мягком кресле, и между разговором тихо и комфортно потягивали шампанское. Бутылка стояла тут же на столике в серебряной вазе со льдом. Дело в том, что хозяин, тайный советник Степан Никифорович Никифоров, старый холостяк лет шестидесяти пяти, праздновал свое новоселье в только что купленном доме, а кстати уж и день своего рождения, который тут же пришелся и которого он никогда до сих пор не праздновал. Впрочем, празднование было не бог знает какое; как мы уже видели, было только двое гостей, оба прежние сослуживцы г-на Никифорова и прежние его подчиненные, а именно: действительный статский советник Семен Иванович Шипуленко и другой, тоже действительный статский советник, Иван Ильич Пралинский. Они пришли

часов в девять, кушали чай, потом принялись за вино и знали, что ровно в половине двенадцатого им надо отправляться домой. Хозяин всю жизнь любил регулярность. Два слова о нем: начал он свою карьеру мелким необеспеченным чиновником, спокойно тянул канитель лет сорок пять сряду, очень хорошо знал, до чего дослужится, терпеть не мог хватать с неба звезды, хотя имел их уже две, и особенно не любил высказывать по какому бы то ни было поводу свое собственное личное мнение. Был он и честен, то есть ему не пришлось сделать чего-нибудь особенно бесчестного; был холост, потому что был эгоист; был очень не глуп, но терпеть не мог выказывать свой ум; особенно не любил неряшества и восторженности, считая ее неряшеством нравственным, и под конец жизни совершенно погрузился в какой-то сладкий, ленивый комфорт и систематическое одиночество. Хотя сам он и бывает иногда в гостях у людей лучше, но еще смолodu терпеть не мог гостей у себя, а в последнее время, если не раскладывал гранпасьянс, довольствовался обществом своих столовых часов и по целым вечерам невозмутимо выслушивал, дремля в креслах, их тиканье под стеклянным колпаком на каминe. Наружности был он чрезвычайно приличной и выбритой, казался моложе своих лет, хорошо сохранился, обещал прожить еще долго и держался самого строгого джентльменства. Место у него было довольно комфортное: он где-то заседал и что-то подписывал. Одним словом, его считали превосходнейшим человеком. Была у него одна только страсть или, лучше сказать, одно горячее желанье: это — иметь свой собственный дом, и именно дом, выстроенный на барскую, а не на капитальную ногу. Желанье его, наконец, осуществилось: он приглядел и купил дом на Петербургской стороне, правда далеко, но дом с садом, и притом дом изящный. Новый хозяин рассуждал, что оно и лучше, если подальше: у себя принимать он не любил, а ездить к кому-нибудь или в должность, на то была у него прекрасная двухместная карета шоколадного цвету, кучер Михай и две маленькие, но крепкие и красивые лошадки. Все это было благоприобретенное сорокалетней, копотливой экономней, так что сердце на все это радовалось. Вот почему, приобретя дом и переехав в него, Степан Никифорович ошутил в своем спокойном сердце такое

довольство, что пригласил даже гостей на свое рождение, которое прежде тщательно утаивал от самых близких знакомых. На одного из приглашенных он имел даже особые виды. Сам он в доме занял верхний этаж, а в нижний, точно так же выстроенный и расположенный, понадобилось жильца. Степан Никифорович и рассчитывал на Семена Ивановича Шипуленко и в этот вечер даже два раза сводил разговор на эту тему. Но Семен Иванович на этот счет отмалчивался. Это был человек тоже туго и долговременно пробивавший себе дорогу, с черными волосами и бакенбардами и с оттенком постоянного разлития желчи в физиономию. Был он женат, был угрюмый домосед, свой дом держал в страхе, служил с самоуверенностью, тоже прекрасно знал, до чего он дойдет, и еще лучше — до чего никогда не дойдет, сидел на хорошем месте и сидел очень крепко. На начинавшиеся новые порядки он смотрел хоть и не без желчи, но особенно не тревожился: он был очень уверен в себе и не без насмешливой злобы выслушивал разглагольствия Ивана Ильича Пралинского на новые темы. Впрочем, все они отчасти подвыпили, так что даже сам Степан Никифорович снизошел до г-на Пралинского и вступил с ним в легкий спор о новых порядках. Но несколько слов о его превосходительстве г-не Пралинском, тем более что он-то и есть главный герой предстоящего рассказа.

Действительный статский советник Иван Ильич Пралинский всего только четыре месяца как назывался вашим превосходительством, одним словом, был генерал молодой. Он и по летам был еще молод, лет сорока трех и никак не более, на вид же казался и любил казаться моложе. Это был мужчина красивый, высокого роста, щеголял костюмом и изысканной солидностью в костюме, с большим умением носил значительный орден на шее, умел еще с детства усвоить несколько великосветских замашек и, будучи холостой, мечтал о богатой и даже великосветской невесте. Он о многом еще мечтал, хотя был далеко не глуп. Подчас он был большой говорун и даже любил принимать парламентские позы. Происходил он из хорошего дома, был генеральский сын и белоручка, в нежном детстве своем ходил в бархате и батисте, воспитывался в аристократическом заведении и хоть вынес из него не много познаний, но на

службе успел и дотянул до генеральства. Начальство считало его человеком способным и даже возлагало на него надежды. Степан Никифорович, под началом которого он и начал и продолжал свою службу почти до самого генеральства, никогда не считал его за человека весьма делового и надежд на него не возлагал никаких. Но ему нравилось, что он из хорошего дома, имеет состояние, то есть большой капитальный дом с управителем, сродни не последним людям и, сверх того, обладал осанкой. Степан Никифорович хулил его про себя за избыток воображения и легкомыслие. Сам Иван Ильич чувствовал иногда, что он слишком самолюбив и даже щекотлив. Странное дело: подчас на него находили припадки какой-то болезненной совестливости и даже легкого в чем-то раскаянья. С горечью и с тайной занозой в душе сознавался он иногда, что вовсе не так высоко летает, как ему думается. В эти минуты он даже впадал в какое-то уныние, особенно когда разыгрывался его геморрой, называл свою жизнь *une existence maigre*¹, переставал верить, разумеется про себя, даже в свои парламентские способности, называл себя парлаером², фразером, и хотя все это, конечно, приносило ему много чести, но отнюдь не мешало через полчаса опять подымать свою голову и тем упорнее, тем заносчивее ободряться и уверять себя, что он еще успеет проявиться и будет не только сановником, но даже государственным мужем, которого долго будет помнить Россия. Даже мерещились ему подчас монумены. Из этого видно, что Иван Ильич хватал высоко, хотя и глубоко, даже с некоторым страхом таил про себя свои неопределенные мечты и надежды. Одним словом, человек он был добрый и даже поэт в душе. В последние годы болезненные минуты разочарования стали было чаще посещать его. Он сделался как-то особенно раздражителен, мнителен и всякое возражение готов был считать за обиду. Но обновляющаяся Россия подала ему вдруг большие надежды. Генеральство их довершило. Он воспрянул; он поднял голову. Он вдруг начал говорить красноречиво и много, говорить на самые новые темы, которые чрезвычайно быстро и неожиданно усвоил себе

¹ неудавшейся жизнью (франц.).

² парлаёр (от франц. — *parleur*) — болтун.

до ярости. Он искал случая говорить, ездил по городу и во многих местах успел прослыть отчаянным либералом, что очень ему льстило. В этот же вечер, выпив бокала четыре, он особенно разгулялся. Ему захотелось переубедить во всем Степана Никифоровича, которого он перед этим давно не видал и которого до сих пор всегда уважал и даже слушался. Он почему-то считал его ретроградом и напал на него с необыкновенным жаром. Степан Никифорович почти не возражал, а только лукаво слушал, хотя тема интересовала его. Иван Ильич горячился и в жару воображаемого спора чаще, чем бы следовало, пробовал из своего бокала. Тогда Степан Никифорович брал бутылку и тотчас же добавлял его бокал, что, неизвестно почему, начало вдруг обижать Ивана Ильича, тем более что Семен Иванович Шипуленко, которого он особенно презирал и, сверх того, даже боялся за цинизм и за злость его, тут же сбоку прековарно молчал и чаще, чем бы следовало, улыбался. «Они, кажется, принимают меня за мальчишку», — мелькнуло в голове Ивана Ильича.

— Нет-с, пора, давно уж пора было, — продолжал он с азартом. — Слишком опоздали-с, и, на мой взгляд, гуманность первое дело, гуманность с подчиненными, памятуя, что и они люди. Гуманность все спасет и все вывезет...

— Хи-хи-хи! — послышалось со стороны Семена Ивановича.

— Да что же, однако ж, вы нас так распекаете, — возразил, наконец, Степан Никифорович, любезно улыбаясь. — Признаюсь, Иван Ильич, до сих пор не мог взять в толк, что вы изволили объяснять. Вы выставяете гуманность. Это значит человеколюбие, что ли?

— Да, пожалуй, хоть и человеколюбие. Я...

— Позвольте-с. Сколько могу судить, дело не в одном этом. Человеколюбие всегда следовало. Реформа же этим не ограничивается. Поднялись вопросы крестьянские, судебные, хозяйственные, откупные, нравственные и... и... и без конца их, этих вопросов, и всё вместе, всё разом может породить большие, так сказать, колебанья. Вот мы про что опасались, а не об одной гуманности...

— Да-с, дело поглубже-с, — заметил Семен Иванович.

— Очень понимаю-с, и позвольте вам заметить, Семен Иванович, что я отнюдь не соглашусь отстать от вас в глубине понимания вещей, — язвительно и чересчур резко заметил Иван Ильич, — но, однако ж, все-таки возьму на себя смелость заметить и вам, Степан Никифорович, что вы тоже меня вовсе не поняли...

— Не понял.

— А между тем я именно держусь и везде провожу идею, что гуманность, и именно гуманность с подчиненными, от чиновника до писаря, от писаря до дворового слуги, от слуги до мужика, — гуманность, говорю я, может послужить, так сказать, красугольным камнем предстоящих реформ и вообще к обновлению вещей. Почему? Потому. Возьмите силлогизм: я гуманен, следовательно меня любят. Меня любят, стало быть чувствуют доверенность. Чувствуют доверенность, стало быть веруют; веруют, стало быть любят... то есть нет, я хочу сказать, если веруют, то будут верить и в реформу, поймут, так сказать, самую суть дела, так сказать, обнимутся нравственно и решат всё дело дружески, основательно. Чего вы смеетесь, Семен Иванович? непонятно?

Степан Никифорович молча поднял брови; он удивлялся.

— Мне кажется, я немного лишнее выпил, — заметил ядовито Семен Иванович, — а потому и туг на соображение. Некоторое затмение в уме-с.

Ивана Ильича передернуло.

— Не выдержим, — произнес вдруг Степан Никифорович после легкого раздумья.

— То есть как это не выдержим? — спросил Иван Ильич, удивляясь внезапному и отрывочному замечанию Степана Никифоровича.

— Так, не выдержим. — Степан Никифорович, очевидно, не хотел распространяться далее.

— Это вы уж не насчет ли нового вина и новых мехов? — не без иронии возразил Иван Ильич. — Ну, нет-с; за себя-то уж я отвечаю.

В эту минуту часы пробили половину двенадцатого.

— Сидят-сидят да и едут, — сказал Семен Иванович, приготавливаясь встать с места. Но Иван Ильич предупредил его, тотчас встал из-за стола и взял с каминной своей соболью шапку. Он смотрел как обиженный.

— Так как же, Семен Иваныч, подумаете? — сказал Степан Никифорович, провожая гостей.

— Насчет квартирки-то-с? Подумаю, подумаю-с.

— А что надумаете, так уведоьте поскорее.

— Все о делах? — любезно заметил г-н Праллинский с некоторым заносливанием и поигрывая своей шапкой. Ему показалось, что его как будто забывают.

Степан Никифорович поднял брови и молчал в знак того, что не задерживает гостей. Семен Иваныч торопливо откланялся.

«А... ну... после этого как хотите... коли не понимаете простой любезности», — решил про себя г-н Праллинский и как-то особенно независимо протянул руку Степану Никифоровичу.

В передней Иван Ильич закутался в свою легкую дорожную шубу, стараясь для чего-то не замечать истасканного энота Семена Иваныча, и оба стали сходить с лестницы.

— Наш старик как будто обиделся, — сказал Иван Ильич молчавшему Семену Иванычу.

— Нет, отчего же? — отвечал тот спокойно и холодно.

«Холоп!» — подумал про себя Иван Ильич.

Сошли на крыльцо, Семену Иванычу подали его санн с серым неказистым жеребчиком.

— Кой черт! Куда же Трифон девал мою карету! — вскричал Иван Ильич, не видя своего экипажа.

Туда-сюда — кареты не было. Человек Степана Никифоровича не имел об ней понятия. Обратились к Варламу, кучеру Семена Иваныча, и получили в ответ, что все стоял тут, и карета тут же была, а теперь вот и нет.

— Скверный анекдот! — произнес г-н Шипуленко, — хотите, доведу?

— Подлец народ! — с бешенством закричал г-н Праллинский. — Просился у меня, каналья, на свадьбу, тут же на Петербургской, какая-то кума замуж идет, черт ее дерн. Я настрого запретил ему отлучаться. И вот бьюсь об заклад, что он туда уехал!

— Он действительно, — заметил Варлам, — поехал туда-с; да обещал в одну минуту обернуться, к самому то есть времени быть.

— Ну так! я как будто предчувствовал! уж я ж его!

— А вы лучше посеките его хорошенько раза два в частн, вот он и будет исполнять приказанья, — сказал Семен Иванович, уже закрываясь полостью.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, Семен Иванович!

— Так не хотите, довезу.

— Счастливый путь, merci¹.

Семен Иванович уехал, а Иван Ильич пошел пешком по деревянным мосткам, чувствуя себя в довольно сильном раздражении.

— Нет уж, я ж тебя теперь, мошенник! Нарочно пешком пойду, чтоб ты чувствовал, чтоб ты испугался! Вернется и узнает, что барин пешком пошел... мерзавец!

Иван Ильич никогда еще так не ругался, но уж очень он был разбешен, и вдобавок в голове шумело. Он был человек непьющий, и потому какие-нибудь пять-шесть бокалов скоро подействовали. Но ночь была восхитительная. Было морозно, но необыкновенно тихо и безветренно. Небо было ясное, звездное. Полный месяц обливал землю матовым серебряным блеском. Было так хорошо, что Иван Ильич, пройдя шагов пятьдесят, почти забыл о беде своей. Ему становилось как-то особенно приятно. К тому же люди под хмельком быстро меняют впечатления. Ему даже начали нравиться невзрачные деревянные домики пустынной улицы.

«А ведь и славно, что я пешком пошел, — думал он про себя, — и Трифону урок, да и мне удовольствие. Право, надо чаще ходить пешком. Что ж? На Большом проспекте я тотчас найду извозчика. Славная ночь! Какие тут всё домшки. Должно быть, мелкота живет, чиновники... купцы, может быть... этот Степан Никифорович! и какие все они ретрограды, старые колпаки! Именно колпаки, c'est le mol². Впрочем, он умный человек; есть этот bon sens³, трезвое, практическое понимание вещей. Но зато старики, старики! Нет этого... как бишь его! Ну да чего-то нет... Не выдержим! что он этим

¹ спасибо (франц.).

² хорошо сказано (франц.).

³ здравый смысл (франц.).

хотел сказать? Даже задумался, когда говорил. Он, впрочем, меня совсем не понял. А и как бы не понять? Труднее не понять, чем понять. Главное то, что я убежден, душою убежден. Гуманность... человеколюбие. Возвратить человека самому себе... возродить его собственное достоинство и тогда... с готовым материалом приступайте к делу. Кажется, ясно! Да-с! Уж это позволите, ваше превосходительство, возьмите силлогизм: мы встречаем, например, чиновника, чиновника бедного, забитого. «Ну... кто ты?» Ответ: «Чиновник». Хорошо, чиновник; далее: «Какой ты чиновник?» Ответ: такой-то, дескать, и такой-то чиновник. «Служишь?» — «Служу!» — «Хочешь быть счастливым?» — «Хочу». — «Что надобно для счастья?» То-то и то-то. «Почему?» Потому... И вот человек меня понимает с двух слов: человек мим, человек уловлен, так сказать, сетями, и я делаю с ним все, что хочу, то есть для его же блага. Скверный человек этот Семен Иванович! и какая у него скверная рожа... Высеки в части, — это он нарочно сказал. — Нет, врешь, сам секи, а я сечь не буду; я Трифона словом дойму, попреки дойму, вот и будет чувствовать. Насчет розог, гм... вопрос нерешенный, гм... А не захват ли к Эмеранс? Фу ты, черт, проклятые мостки! — вскрикнул он, вдруг оступившись. — И это столица! Просвещение! Можно ногу сломать. Гм. Ненавижу у этого Семёна Иваныча; препротивная рожа. Это он надо мной давеча хихикал, когда я сказал: обнимутся нравственно. Ну и обнимутся, а тебе что за дело? Уж тебя-то не обниму; скорей мужика... Мужик встретится, и с мужиком поговорю. Впрочем, я был пьян и, может быть, не так выражался. Я и теперь, может быть, не так выражаюсь... Гм. Никогда не буду пить. С вечеру наболтаешь, а назавтра расквашаешься. Что ж, я ведь, не шатаюсь, иду... А впрочем, все они мошенники!»

Так рассуждал Иван Ильич, отрывисто и бессвязно, продолжая шагать по тротуару. На него подействовал свежий воздух и, так сказать, раскачал его. Минут через пять он бы успокоился и захотел спать. Но вдруг, почти в двух шагах от Большого проспекта, ему послышалась музыка. Он огляделся. На другой стороне улицы в очень ветхом одноэтажном, но длинном деревянном доме задался пир горой, гудели скрипки, скрипел контрбас и визгливо заливалась флейта на очень веселый

кадрильный мотив. Под окнами стояла публика, больше женщины в ватных салопсах и в платках на голове; они напрягали все усилия, чтобы разглядеть что-нибудь сквозь щели ставен. Видно, весело было. Гул от топота танцующих достигал другой стороны улицы. Иван Ильич недалеко от себя заметил городского и подошел к нему.

— Чей это, братец, дом? — спросил он, немного распахивая свою дорогую шубу, ровно настолько, чтобы городской мог заметить значительный орден на шее.

— Чиновника Пселдонимова, легистратора, — отвечал, выпрямившись, городской, мигом успевший разглядеть отличие.

— Пселдонимова? ба! Пселдонимова!.. Что ж он? женится?

— Женится, ваше высокородие, на титулярного советника дочери. Млекопитаев, титулярный советник... в управе служил. Этот дом за невестой ихней идет-с.

— Так что теперь уж это Пселдонимова, а не Млекопитаева дом?

— Пселдонимова, ваше высокородие. Млекопитаева был, а теперь Пселдонимова.

— Гм. Я потому тебя, братец, спрашиваю, что я начальник его. Я генерал над тем самым местом, где Пселдонимов служит.

— Точно так, ваше превосходительство. — Городовой вытянулся окончательно, а Иван Ильич как будто задумался. Он стоял и соображал...

Да, действительно Пселдонимов был из его ведомства, из самой его канцелярии; он припоминал это. Это был маленький чиновник, рублях на десяти в месяц жалованья. Так как г-н Пралинский принял свою канцелярию еще очень недавно, то мог и не помнить слишком подробно всех своих подчиненных, но Пселдонимова он помнил, именно по случаю его фамилии. Она бросилась ему в глаза с первого разу, так что он тогда же полюбопытствовал взглянуть на обладателя такой фамилии повнимательнее. Он припомнил теперь еще очень молодого человека, с длинным горбатым носом, с белобрысыми и клочковатыми волосами, худосочного и худо выкормленного, в невозможном вицмундире и в невозможных даже до неприличия невыразимых. Он помнил, как у него тогда же мелькнула мысль: не определить ли

бедняку рублей десяток к празднику для поправки? Но так как лицо этого бедняка было слишком постное, а взгляд крайне несимпатичный, даже возбуждающий отвращение, то добрая мысль сама собой как-то испарилась, так что Пселдонимов и остался без награды. Тем сильнее изумил его этот же самый Пселдонимов не более как неделю назад своей просьбой жениться. Иван Ильич помнил, что ему как-то не было времени заняться этим делом подробнее, так что дело о свадьбе решено было слегка, наскоро. Но все-таки он с точностью припоминал, что за невестой своей Пселдонимов берет деревянный дом и четыреста рублей чистыми деньгами; это обстоятельство тогда же его удивило; он помнил, что даже слегка сострил над столкновением фамилий Пселдонимова и Млекопитаевой. Он ясно припоминал все это.

Припоминал он и все более и более раздумывался. Известно, что целые рассуждения проходят иногда в наших головах мгновенно, в виде каких-то ощущений, без перевода на человеческий язык, тем более на литературный. Но мы постараемся перевести все эти ощущения героя нашего и представить читателю хотя бы только сущность этих ощущений, так сказать то, что было в них самое необходимое и правдоподобное. Потому что ведь многие из ощущений наших, в переводе на обыкновенный язык, покажутся совершенно неправдоподобными. Вот почему они никогда и на свет не являются, а у всякого есть. Разумеется, ощущения и мысли Ивана Ильича были немного бессвязны. Но ведь вы знаете причину.

«Что же! — мелькало в его голове, — вот мы все говорим, говорим, а коснется до дела, и только шшш выходит. Вот пример, хоть бы этот самый Пселдонимов: он приехал давеча от венца в волнении, в надежде, ожидая вкусить... Это один из блаженнейших дней его жизни... Теперь он возится с гостями, задает пир — скромный, бедный, но веселый, радостный, искренний... Что ж, если б он узнал, что в эту самую минуту я, я, его начальник, его главный начальник, тут же стою у его дома и слушаю его музыку! А и в самом деле, что бы с ним было? Нет, что бы с ним было, если б я теперь же вдруг взял и вошел? гм... Разумеется, сначала он испугался бы, онемел бы от замешательства. Я пошел бы ему, я расстроил бы, может быть, всё... Да, так

и было бы, если б вошел всякий другой генерал, но не я... В том-то и дело, что всякий, да только не я...

Да, Степан Никифорович! Вот вы не понимали меня давеча, а вот вам и готовый пример.

Да-с. Мы все кричим о гуманности, но героизма, подвига мы сделать не в состоянии.

Какого героизма? такого. Рассудите-ка: при теперешних отношениях всех членов общества мне, мне войти в первом часу ночи на свадьбу своего подчиненного, регистратора, на десяти рублях, да ведь это замешательство, это — коловращенье идей, последний день Помпеи, сумбур! Этого никто не поймет. Степан Никифорович умрет — не поймет. Ведь сказал же он: не выдержим. Да, но это вы, люди старые, люди паралича и косности, а я вы-дер-жу! Я обращаю последний день Помпеи в сладчайший день для моего подчиненного и поступок дикий — в нормальный, патриархальный, высокий и нравственный. Как? так. Извольте прислушаться...

Ну... вот я, положим, вхожу: — они изумляются, прерывают танцы, смотрят дико, пьются. Так-с, но тут-то я и выказываюсь: я прямо иду к испуганному Пселдонимову и с самой ласковой улыбкой, так-таки в самых простых словах говорю: «Так и так, дескать, был у его превосходительства Степана Никифоровича. Полагаю, знаешь, здесь, по соседству...» Ну тут слегка, в смешном этак виде, рассказываю приключение с Трифоном. От Трифона перехожу к тому, как пошел пешком... «Ну — слышу музыку, любопытствую у городского и узнаю, брат, что ты женишься. Дай, думаю, зайду к подчиненному, посмотрю, как мои чиновники веселятся и... желятся. Ведь не прогонишь же ты меня, полагаю!» Прогонишь! Каково словечко для подчиненного. Какой уж тут черт прогонишь! Я думаю, он с ума сойдет, со всех ног кинется меня в кресло сажать, задрожит от восхищенья, не сообразится даже на первый раз!..

Ну, что может быть проще, изящнее такого поступка! Зачем я вошел? Это другой вопрос! Это уже, так сказать, нравственная сторона дела. Вот тут-то и сок!

Гм... Об чем, бишь, я думал? да!

Ну уж, конечно, они меня посадят с самым важным гостем, какой-нибудь там титулярный али родственник, отставной штабс-капитан с красным носом... Славно этих оригиналов Гоголь описывал. Ну знакомлюсь, ра-

зумеется, с молодой, хвалю ее, ободряю гостей. Прошу их не стесняться, веселиться, продолжать танцы, остро, смеюсь, одним словом — я любезен и мил. Я всегда любезен и мил, когда доволен собой... Гм... то-то я есть, что я все еще, кажется, немного того... то есть не пьян, а так...

...Разумеется, я, как джентльмен, на равной с ними ноге и отнюдь не требую каких-нибудь особенных знаков... Но нравственно, нравственно дело другое: они поймут и оценят... Мой поступок воскресит в них все благородство... Ну и сижу полчаса... Даже час. Уйду, разумеется, перед самым ужином, а уж они-то захлопочут, напекут, нажарят, в пояс кланяться будут, но я только выпью бокал, поздравлю, а от ужина откажусь. Скажу: дела. И уж только что я произнесу «дела», у всех тотчас же станут почтительно строгие лица. Этим я деликатно напомню, что они и я — это разинца-с. Земля и небо. Я не то чтобы хотел это внушать, но надо же... даже в нравственном смысле необходимо, что уж там ни говори. Впрочем, я тотчас же улыбнусь, даже посмеюсь, пожалуй, и потом все ободрятся... Пошучу еще раз с молодой; гм... даже вот что: намекну, что приду опять ровнешенько через девять месяцев в качестве кума, хе-хе! А она, верно, родит к тому времени. Ведь они плодятся, как кролики. Ну и все захохочут, молодая покраснеет; я с чувством поцелую ее в лоб, даже благословлю ее и... и на завтра в канцелярии мой подвиг уже известен. На завтра я опять строг, на завтра я опять взыскателен, даже несумолим, но все они уже знают, кто я такой. Душу мою знают, суть мою знают: «Он строг как начальник, но как человек — он ангел!» И вот я победил; я уловил каким-нибудь одним маленьким поступком, которого вам и в голову не придет; они уж мои; я отец, они дети... Ну-тка, ваше превосходительство, Степаи Никифорович, подите-ка сделайте этак...

...Да знаете ли вы, понимаете ли, что Псслдонимон будет детям своим поминать, как сам генерал пировал и даже пил на его свадьбе! Да педь эти дети будут своим детям, а те своим внукам рассказывать, как священнойший анекдот, что сановник, государственный муж (а я всем этим к тому времени буду) удостоил их... и т. д. и т. д. Да ведь я униженного нравственно подыму, я самому себе его возвращу... Ведь он десять рублей

в месяц жалования получает!.. Да ведь повтори я это раз пять, али десять, али что-нибудь в этом же роде, так повсеместную популярность приобрету... У всех в сердцах буду напечатлен, и ведь черт один знает, что из этого потом может выйти, из популярности-то!..»

Так или почти так рассуждал Иван Ильич (господа, мало ли что человек говорит иногда про себя, да еще несколько в эксцентрическом состоянии). Все эти рассуждения промелькнули в его голове в какие-нибудь полминуты, и, конечно, он, может, и ограничился бы этими мечтаниями и, мысленно пристыдив Степана Никифоровича, преспокойно отправился бы домой и лег спать. И славно бы сделал! Но вся беда в том, что минута была эксцентрическая.

Как нарочно, вдруг, в это самое мгновение в настроенном воображении его нарисовались самодовольные лица Степана Никифоровича и Семена Ивановича.

— Не выдержим! — повторил Степан Никифорович, свысока улыбаясь.

— Хи-хи-хи! — вторил ему Семен Иванович своей самой прескверной улыбкой.

— А вот и посмотрим, как не выдержим! — решительно сказал Иван Ильич, и даже жар бросился ему в лицо. Он сошел с мостков и твердыми шагами прямо направился через улицу в дом своего подчиненного, регистратора Пселдонимова.

Звезда увлекала его. Он бодро вошел в отпертую калитку и с презрением оттолкнул ногой маленькую, лохматую и осыпшую шавку, которая, более для приличия, чем для дела, бросилась к нему с хриплым лаем под ноги. По деревянной настилке дошел он до крытого крылечка, будочкой выходявшего на двор, и по трем ветхим деревянным ступенькам поднялся в крошечные сени. Тут хоть и горел где-то в углу сальный огарок или что-то вроде плашки, но это не помешало Ивану Ильичу, так, как есть, в калошах, попасть левой ногой в галантир, выставленный для остужения. Иван Ильич нагнулся и, посмотрев с любопытством, увидел, что тут стоят еще два блюда с каким-то заливным, да еще две формы, очевидно, с бламанже. Раздавленный галантир его было

скопфузил, и на одно самое маленькое мгновение у него промелькнула мысль: не улизнуть ли сейчас же? Но он почел это слишком низким. Рассудив, что никто не видел и на него уж никак не подумают, он поскорее обтер калошу, чтобы скрыть все следы, нащупал обитую войлоком дверь, растворил ее и очутился в премаленькой передисй. Одна половиня ее была буквально завалена шинелями, бекешами, салопами, капорами, шарфами и калошами. В другой расположились музыканты: две скрипки, флейта и контрабас, всего четыре человека, взятые, разумеется, с улицы. Они сидели за некрашеным деревянным столиком, при одной сальной свечке, и во всю ивановскую допиливали последнюю фигуру кадрили. Из отпертой двери в залу можно было разглядеть танцующих, в пыли, в табаке и в чаду. Было как-то бешено весело. Слышался хохот, крики и дамские взвизги. Кавалеры топали, как эскадрон лошадей. Над всем содомом звучала команда распорядителя танцев, вероятно, чрезвычайно развязного и даже расстегнувшегося человека: «Кавалеры вперед, шен де дам, баланс!» и проч. и проч. Иван Ильич в некотором волнении сбросил с себя шубу и калоши и с шапкой в руке вошел в комнату. Впрочем, он уж и не рассуждал...

В первую минуту его никто не заметил: все доплясывали кончавшийся танец. Иван Ильич стоял как оглушенный и ничего подробно не мог разглядеть в этой каше. Мелькали дамские платья, кавалеры с папиросами в зубах... Мелькнул светло-голубой шарф какой-то дамы, задевший его по носу. За ней в бешеном восторге промчался медицинский студент с разметанными вихрем волосами и сильно толкнул его по дороге. Мелькнул еще перед ним, длинный как верста, офицер какой-то команды. Кто-то неестественно визгливым голосом прокричал, пролетая и притопывая вместе с другими: «Э-э-эх, Пселдонимушка!» Под ногами Ивана Ильича было что-то липкое: очевидно, пол навошили воском. В комнате, впрочем, не очень малой, было человек до тридцати гостей.

Но через минуту кадрили кончилась, и почти тотчас же произошло то же самое, что представлялось Ивану Ильичу, когда он еще мечтал на мостках. По гостям и танцующим, еще не успевшим отдышаться и обтереть

с лица пот, прошел какой-то гул, какой-то необыкновенный шепот. Все глаза, все лица начали быстро оборачиваться к вошедшему гостю. Затем все тотчас же стали понемногу отступать и пятиться. Незамечавших дергали за платье и образумливали. Они оглядывались и тотчас же пятились вместе с прочими. Иван Ильич все еще стоял в дверях, не двигаясь ни шагу вперед, а между ним и гостями все более и более очищалось открытое пространство, усеянное на полу бесчисленными конфетными бумажками, билетиками и окурками папирос. Вдруг в это пространство робко выступил молодой человек, в вицмундире, с вихроватыми, бело-русыми волосами и с горбатым носом. Он подвигался вперед, согнувшись и смотря на неожиданного гостя совершенно с таким же точно видом, с каким собака смотрит на своего хозяина, зовущего ее, чтоб дать ей пицца.

— Здравствуй, Пселдонимов, узнаешь?.. — сказал Иван Ильич и в то же мгновение почувствовал, что он это ужасно неловко сказал; он почувствовал тоже, что, может быть, делает в эту минуту страшнейшую глупость.

— В-в-ваше превосходительство!.. — пробормотал Пселдонимов.

— Ну, то-то. Я, брат, к тебе совершенно случайно зашел, как, вероятно, ты и сам можешь это себе представить...

Но Пселдонимов, очевидно, ничего не мог представить. Он стоял, выпучив глаза, в ужасающем недоумении.

— Ведь не прогонишь же ты меня, полагаю... Рад не рад, а гостя принимай!.. — продолжал Иван Ильич, чувствуя, что конфузится до неприличной слабости, желает улыбнуться, но уже не может; что юмористический рассказ о Степане Никифоровиче и Трифоне становится все более и более невозможным. Но Пселдонимов, как нарочно, не выходил из столбняка и продолжал смотреть с совершенно дурацким видом. Ивана Ильича передернуло, он чувствовал, что еще одна такая минута, и произойдет невероятный сумбур.

— Я уж не помешал ли чему... я уйду! — едва выговорил он, и какая-то жилка затрепетала у правого края его губ...

Но Пселдонимов уже опомнился...

— Ваше превосходительство, помилуйте-с... Честь... — бормотал он, уторопленно кланяясь, — удостоите присесть-с... — И, еще более очнувшись, он обеими руками указывал ему на диван, от которого для танцев отодвинули стол...

Иван Ильич отдохнул душою и опустился на диван; тотчас же кто-то кинулся придвигать стол. Он бегло осмотрелся и заметил, что он один сидит, а все другие стоят, даже дамы. Признак дурной. Но напоминать и ободрять было еще не время. Гости все еще пятились, а перед ним, скрючившись, стоял все еще один только Пселдонимов, все еще ничего не понимающий и далеко не улыбающийся. Было скверно, короче: в эту минуту наш герой вынес столько тоски, что действительно его гарун-аль-рашидское нашествие, ради принципа, к подчиненному могло бы почестся подвигом. Но вдруг какая-то фигурка очутилась подле Пселдонимова и начала кланяться. К невыразимому своему удовольствию и даже счастью, Иван Ильич тотчас же распознал столоначальника из своей канцелярии, Аким Петровича Зубикова, с которым он хоть, конечно, и не был знаком, но знал его за дельного и бессловесного чиновника. Он немедленно встал и протянул Акиму Петровичу руку, всю руку, а не два пальца. Тот принял ее обеими ладонями в глубочайшем почтении. Генерал торжествовал; все было спасено.

И действительно, теперь уже Пселдонимов был, так сказать, не второе, а уже третье лицо. С рассказом можно было обратиться прямо к столоначальнику, за нужду приняв его за знакомого и даже короткого, а Пселдонимов тем временем мог только молчать и трепетать от благоговения. Следственно, приличия были соблюдены. А рассказ был необходим; Иван Ильич это чувствовал; он видел, что все гости ожидают чего-то, что в обеих дверях столпились даже все домочадцы и чуть не взлезают друг на друга, чтоб его поглядеть и послушать. Скверно было то, что столоначальник, по глупости своей, все еще не садился.

— Что же вы! — проговорил Иван Ильич, неловко указывая ему подле себя на диване.

— Помилуйте-с... я и здесь-с... — и Аким Петрович быстро сел на стул, подставленный ему почти на лету упорно остававшимся на ногах Пселдонимовым.

— Можете себе представить случай, — начал Иван Ильич, обращаясь исключительно к Аким Петровичу несколько дрожащим, но уже развязным голосом. Он даже растягивал и разделял слова, ударял на слоги, букву *a* стал выговаривать как-то на *э*, одним словом, сам чувствовал и сознавал, что кривляется, но уже совладать с собою не мог; действовала какая-то внешняя сила. Он ужасно много и мучительно сознавал в эту минуту.

— Можете себе представить, я только что от Степана Никифоровича Никифорова, слышали, может быть, тайный советник. Ну... в этой комиссии...

Аким Петрович почтительно нагнул всея корпусом вперед: «Дескать, как не слышать-с».

— Он теперь твой сосед, — продолжал Иван Ильич, на один миг, для приличия и для неприужденности, обращаясь к Пселдоннмову, но быстро отворотился, увидав тотчас же по глазам Пселдоннмова, что тому это решительно все равно.

— Старик, как вы знаете, бредил всю жизнь купить себе дом... Ну и купил. И прехорошенький дом. Да... А тут и его рождение сегодня подошло, и ведь никогда прежде не праздновал, даже таил от нас и отнекивался по скупости, хе-хе! а теперь так обрадовался новому дому, что пригласил меня и Семена Ивановича. Знаете: Шипуленко.

Аким Петрович опять нагнул. С усердием нагнул Иван Ильич несколько утешился. А то уж ему приходило в голову, что столоначальник, пожалуй, догадывается, что он в эту минуту необходимая точка опоры для его превосходительства. Это было бы всего сквернее.

— Ну, посидели втроем, шампанского нам поставил, поговорили о делах... Ну о том о сем... о во-про-сах... Даже пос-по-рили... Хе-хе!

Аким Петрович почтительно поднял брови.

— Только дело не в этом. Прошаюсь с ним, наконец, старик аккуратный, ложится рано, знаете, к старости. Выхожу... нет моего Трифона! Тревожусь, расспрашиваю: «Куда девал Трифон карету?» Открывается, что он, понадеясь, что я засижусь, отправился на свадьбу к какой-то своей куме или к сестре... уж бог его знает. Здесь же где-то на Петербургской. Да и карету уж

кстати с собою захватил. — Генерал опять для приличия взглянул на Пселдонимова. Того немедленно скрючило, но вовсе не так, как надобно было генералу. «Сочувствия, сердца нет», — промелькнуло в его голове.

— Скажите! — проговорил глубоко пораженный Аким Петрович. Маленький гул удивления прошел по всей толпе.

— Можете себе представить мое положение... (Иван Ильич взглянул на всех.) Нечего делать, иду пешком. Думаю, добреду до Большого проспекта, да и найду какого-нибудь ваньку... хе-хе!

— Хи-хи-хи! — почтительно отозвался Аким Петрович. Опять гул, но уже на веселый лад, прошел по толпе. В это время с треском лопнуло стекло на стенной лампе. Кто-то с жаром бросился поправлять ее. Пселдонимов встrepенулся и строго посмотрел на лампу, но генерал даже не обратил внимания, и все успокоилось.

— Иду... а ночь такая прекрасная, тихая. Вдруг слышу музыку, топот, танцуют. Любопытствую у городского: Пселдонимов женится. Да ты, брат, на всю Петербургскую сторону балы задаешь? ха-ха, — вдруг обратился он опять к Пселдонимову.

— Хи-хи-хи! да-с... — отозвался Аким Петрович; гости опять пошевелились, но всего глупее было то, что Пселдонимов хоть и поклонился опять, но даже и теперь не улыбнулся, точно он был деревянный. «Да он дурак, что ли! — подумал Иван Ильич. — тут-то бы улыбаться, ослу, и все бы пошло как по маслу». Нетерпение бушевало в его сердце. — Думаю, дай войду к подчиненному. Ведь не прогонит же он меня... рад не рад, а принимай гостя. Ты, брат, пожалуйста, извини. Если я чем помешал, я уйду... Я ведь только зашел посмотреть...

Но малу-помалу уже начиналось всеобщее движение. Аким Петрович смотрел с улащенным видом: «Дескать, можете ли, ваше превосходительство, помешать?» Все гости пошевелились и стали обнаруживать первые признаки развязности. Дамы почти все уже сидели. Знак добрый и положительный. Посмелее из них обмахивались платочками. Одна из них, в истертом бархатном платье, что-то нарочно громко проговорила. Офицер, к которому она обратилась, хотел было ей ответить тоже погромче, но так как они были только двое из громких, то спасовал. Мужчины, все более канцеляристы,

и два-три студента, переглядывались, как бы подталкивая друг друга развернуться, откашливались и даже начали ступать по два шага в разные стороны. Впрочем, никто особенно не робел, а только все были дики и почти все про себя враждебно смотрели на персону, ввалившуюся к ним, чтоб нарушить их веселье. Офицер, устыдясь своего малодушия, начал понемногу приближаться к столу.

— Да послушай, брат, позволь спросить, как твое имя и отчество? — спросил Иван Ильич Пселдонимова.

— Порфирий Петров, ваше превосходительство, — отвечал тот, выпуча глаза, точно на смотру.

— Познакомь же меня, Порфирий Петрович, с твоей молодой женой... Поведи меня... я...

И он обнаружил было желание привстать. Но Пселдонимов кинулся со всех ног в гостиную. Впрочем, молодая стояла тут же в дверях, но, только что услышала, что о ней идет речь, тотчас спряталась. Через минуту Пселдонимов вывел ее за руку. Все расступались, давая им ход. Иван Ильич торжественно привстал и обратился к ней с самой любезной улыбкой.

— Очень, очень рад познакомиться, — произнес он с самым великосветским полупоклоном, — и тем более в такой день...

Он прековарно улыбнулся. Дамы приятно заволновались.

— Шармё¹, — произнесла дама в бархатном платье почти вслух.

Молодая стояла Пселдонимова. Это была худенькая дамочка, всего еще лет семнадцати, бледная, с очень маленьким лицом и с востреньким носиком. Маленькие глазки ее, быстрые и беглые, вовсе не конфузились, напротив, смотрели пристально и даже с оттенком какой-то злости. Очевидно, Пселдонимов брал ее за красоту. Одетая она была в белое кисейное платье на розовом чехле. Шея у нее была худенькая, тело цыплячье, выставлялись кости. На привет генерала она ровно ничего не сумела сказать.

— Да она у тебя прехорошенькая, — продолжал он вполголоса, как будто обращаясь к одному Пселдонимову, но нарочно так, чтоб и молодая слышала. Но

¹ Шармё (от франц. — charme) — очарована.

Пселдонимов ровно ничего и тут не ответил, даже и не покачнулся на этот раз. Ивану Ильичу показалось даже, что в глазах его есть что-то холодное, затасенное, даже что-то себе на уме, особенное, злокачественное. И, однако ж, во что бы ни стало надо было добиться чувствительности. Ведь для нее-то он и пришел.

«Однако парочка! — подумал он. — Впрочем...»

И он снова обратился к молодой, поместившейся возле него на диване, но на два или на три вопроса свои получил опять только «да» и «нет», да и тех, правда, вполне не получил.

«Хоть бы она поконфузилась, — продолжал он про себя. — Я бы тогда шутить начал. А то ведь мое-то положение безвыходное». И Аким Петрович, как нарочно, тоже молчал, хоть и по глупости, но все же было неизвинительно. «Господа! уж я не помешал ли вашим удовольствиям?» — обратился было он ко всем вообще. Он чувствовал, что у него даже ладони потеют.

— Нет-с... Не беспокойтесь, ваше превосходительство, сейчас начнем, а теперь... прохлаждаемся-с, — отвечал офицер. Молодая с удовольствием на него поглядела: офицер был еще не стар и носил мундир какой-то команды. Пселдонимов стоял тут же, подавшись вперед, и, казалось, еще более, чем прежде, выставлял свой горбатый нос. Он слушал и смотрел, как лакей, стоящий с шубой в руках и ожидающий окончания прощального разговора своих господ. Это сравнение сделал сам Иван Ильич; он терялся, он чувствовал, что ему неловко, ужасно неловко, что почва ускользает из-под его ног, что он куда-то зашел и не может выйти, точно в потемках.

Вдруг все расступились, и появилась невысокая и плотная женщина, уже пожилая, одетая просто, хотя и принарядившаяся, в большом платке на плечах, зашпиленном у горла, и в чепчике, к которому она, видимо, не привыкла. В руках ее был небольшой круглый поднос, на котором стояла непочатая, но уже раскупоренная бутылка шампанского и два бокала, ни больше ни меньше. Бутылка, очевидно, назначалась только для двух гостей.

Пожилая женщина прямо приблизилась к генералу.

— Уж не взыщите, ваше превосходительство, — сказала она, кланяясь, — а уж коль не погнушались нами, оказали честь к сыночку на свадьбу пожаловать, так уж просим милости, поздравьте вином молодых. Не погнушайтесь, окажите честь.

Иван Ильич схватился за нее, как за спасение. Она была еще вовсе не старая женщина, лет сорока пяти или шести, не больше. Но у ней было такое доброе, румяное, такое открытое, поздравьте вином молодых, она так добродушно улыбалась, так просто кланялась, что Иван Ильич почти утешился и начал было надеяться.

— Так вы-ы-ы ро-ди-тель-ница вашего сы-на? — сказал он, привстав с дивана.

— Родительница, ваше превосходительство, — промямлил Пселдонимов, вытягивая свою длинную шею и снова выставляя свой нос.

— А! Очень рад, о-чень рад познакомиться.

— Так не побрезгайте, ваше превосходительство.

— С превеликим даже удовольствием.

Поднос поставили, вино налил подскокивший Пселдонимов. Иван Ильич, все еще стоя, взял бокал.

— Я особенно, особенно рад этому случаю, что могу... — начал он, — что могу... при сем засвидетельствовать... Одним словом, как начальник... желаю вам, сударыня (он обратился к новобрачной), и тебе, мой друг Порфирий, — желаю полного, благополучного и долгого счастья.

И он даже с чувством выпил бокал, счетом седьмой в этот вечер. Пселдонимов смотрел серьезно и даже угрюмо. Генерал начинал мучительно его ненавидеть.

«Да и этот верзила (он взглянул на офицера) тут же торчит. Ну что бы хоть ему прокричать: ура! И пошло бы, и пошло бы...»

— Да и вы, Аким Петрович, выпейте и поздравьте, — прибавила старуха, обращаясь к столоначальнику. — Вы начальник, он вам подчиненный. Наблюдайте сыночка-то, как мать прошу. Да и впредь нас не забывайте, голубчик наш, Аким Петрович, добрый вы человек.

«А ведь какие славные эти русские старухи! — подумал Иван Ильич. — Всех оживила. Я всегда любил народность...»

В эту минуту к столу поднесли еще поднос. Несладка, в шумящем, еще не мытом ситцевом платье и

в кринолине. Она едва обхватывала поднос руками, так он был велик. На нем стояло бесчисленное множество тарелочек с яблоками, с конфетами, с пастилой, с мармеладом, с грецкими орехами и проч. и проч. Поднос стоял до сих пор в гостиной, для угощения всех гостей, и преимущественно дам. Но теперь его перенесли к одному генералу.

— Не побрезгайте, ваше превосходительство, нашим яством. Чем богаты, тем и рады, — повторяла, кланяясь, старуха.

— Помилуйте... — сказал Иван Ильич и даже с удовольствием взял и раздавил между пальцами один грецкий орех. Он уж решился быть до конца популярным.

Между тем молодая вдруг захихикала.

— Что-с? — спросил Иван Ильич с улыбкой, обрадовавшись признакам жизни.

— Да вот-с, Иван Костенькиныч смешиш, — отвечала она потупившись.

Генерал действительно рассмотрел одного белокурого юношу, очень недурного собой, спрятавшегося на стуле с другой стороны дивана и что-то нашептывавшего м-ме Пселдонимовой. Юноша привстал. Он, по-видимому, был очень застенчив и очень молод.

— Я про «сонник» им говорил, ваше превосходительство, — пробормотал он, как будто извиняясь.

— Про какой же это сонник? — спросил Иван Ильич снисходительно.

— Новый сонник-с есть-с, литературный-с. Я им говорил-с, если господина Панаева во сне увидите-с, то это значит кофеем маншку залить-с.

«Экая невнимательность», — подумал даже со злобою Иван Ильич. Молодой человек хоть и очень раздумянулся, говоря это, но до невероятности был рад, что рассказал про г-на Панаева.

— Ну да, да, я слышал... — отозвался его превосходительство.

— Нет, вот еще лучше есть, — проговорил другой голос подле самого Ивана Ильича, — новый лексикон издается, так, говорят, господин Краевский будет писать статьи, Алферакии... и абличительная литература...

Проговорил это молодой человек, но уже не конфузливый, а довольно развязный. Он был в перчатках,

белом жилете и держал шляпу в руках. Он не танцевал, смотрел высокомерно, потому что был один из сотрудников сатирического журнала «Головешка», задавал тону и попал на свадьбу случайно, приглашенный как почетный гость Пселдонимовым, с которым бы на ты и с которым, еще прошлого года, вместе бедствовал у одной немки «в углах». Водку он, однако ж, пил и уже неоднократно для этого отлучался в одну укромную заднюю комнатку, куда все знали дорогу. Генералу он ужасно не понравился.

— И это потому смешно-с, — с радостью перебил вдруг белокурый юноша, рассказавший про манишку и на которого сотрудник в белом жилете посмотрел за это с ненавистью, — потому смешно, ваше превосходительство, что сочинителем полагается, будто господин Краевский правописания не знает и думает, что «обличительную литературу» надобно писать абличительная литература...

Но бедный юноша едва закончил. Он по глазам увидел, что генерал давно уже это знает, потому что сам генерал тоже как будто сконфузился и, очевидно, оттого, что знал это. Молодому человеку стало до невероятности совестно. Он успел куда-то поскорее ступешаваться и потом все остальное время был очень грустен. Взамен того развязный сотрудник «Головешки» подошел еще ближе и, казалось, намеревался где-нибудь поблизости сесть. Такая развязность показалась Ивану Ильичу несколько щекотливой.

— Да! скажи, пожалуйста, Порфирий, — начал он, чтобы что-нибудь говорить, — почему — я все тебя хотел спросить об этом лично — почему тебя зовут Пселдонимов, а не Псевдонимов? Ведь ты, наверное, Псевдонимов?

— Не могу в точности доложить, ваше превосходительство, — отвечал Пселдонимов.

— Это, верно, еще его отцу-с при поступлении на службу в бумагах перемешали-с, так что он и остался теперь Пселдонимов, — отозвался Аким Петрович. — Это бывает-с.

— Неп-ре-менно, — с жаром подхватил генерал, — неп-ре-мен-но, потому, сами посудите: Псевдонимов — ведь это происходит от литературного слова «псевдоним». Ну, а Пселдонимов ничего не означает.

— По глупости-с, — прибавил Аким Петрович.

— То есть, собственно, что по глупости?

— Русский народ-с; по глупости изменяет иногда литеры-с и выговаривает иногда по-своему-с. Например, говорят невалид, а надо бы сказать швалид-с.

— Ну, да... невалид, хе-хе-хе...

— Мумер тоже говорят, ваше превосходительство, — брякнул высокий офицер, у которого давно уже зудело, чтоб как-нибудь отличиться.

— То есть как это мумер?

— Мумер вместо нумер, ваше превосходительство.

— Ах да, мумер... вместо нумер... Ну да, да... хе-хе, хе!.. — Иван Ильич принужден был похихикать и для офицера.

Офицер поправил галстук.

— А вот еще говорят: мимо, — ввязался было сотрудник «Головешки». Но его превосходительство постарался этого уж не слышать. Не для всех же было хихикать.

— *Нимо* вместо *мимо*, — приставал «сотрудник» с видимым раздражением.

Иван Ильич строго посмотрел на него.

— Ну, что пристал? — шепнул Пселдонимов «сотруднику».

— Да что ж это, я разговариваю. Нельзя, что ль, и говорить, — заспорил было тот шепотом, но, однако ж, замолчал и с тайною яростью вышел из комнаты.

Он прямо пробрался в привлекательную заднюю комнату, где для танцующих кавалеров, еще с начала вечера, поставлена была на маленьком столике, накрытом ярославскою скатертью, водка двух сортов, селедка, икра ломтиками и бутылка крепчайшего хереса из национального погребка. Со злостью в сердце он налил было себе водки, как вдруг вбежал медицинский студент, с растрепанными волосами, первый танцор и канканер на бале Пселдонимова. Он с торопливою жадностью бросился к графине.

— Сейчас начнут! — проговорил он, наскоро распорядясь. — Приходи смотреть: соло сделаю вверх ногами, а после ужина рискну *рыбку*. Это будет даже идти к свадьбе-то. Так сказать, дружеский намек Пселдонимову... Славная эта Клеопатра Семеновна, с ней все что угодно можно рискнуть.

— Это ретроград. — мрачно отвечал сотрудник, выпивая рюмку.

— Кто ретроград?

— Да вот, особа-то, перед которой настилу поставили. Ретроград! я тебе говорю.

— Ну уж ты! — пробормотал студент и бросился вон из комнаты, услышав ритурнель кадрили.

Сотрудник, оставшись один, налил себе еще для большего куража и независимости, выпил, закурил, и никогда еще действительный статский советник Иван Ильич не приобретал себе более яростного прага и более неутомимого мстителя, как пренебреженный им сотрудник «Головешки», особенно после двух рюмок водки. Увы! Иван Ильич ничего не подозревал в этом роде. Не подозревал он и еще одного капитальнейшего обстоятельства, имевшего влияние на все дальнейшие взаимные отношения гостей к его превосходительству. Дело в том, что он хоть и дал с своей стороны приятное и даже подробное объяснение своего присутствия на свадьбе у своего подчиненного, но это объяснение, в сущности, никого не удовлетворило, и гости продолжали конфузиться. Но вдруг все переменялось, как волшебством; все успокоилось и готовы были веселиться, хохотать, визжать и плясать, точно так же, как если бы неожиданного гостя совсем не было в комнате. Причиной тому был неизвестно каким образом вдруг разошедшийся слух, шепот, известие, что гость-то, кажется, того... под шефе. И хоть дело пошло с первого взгляда вид ужаснейшей клеветы, но мало-помалу стало как будто оправдываться, так что вдруг все стало ясно. Мало того, стало вдруг необыкновенно свободно. И вот в это-то самое мгновение и началась кадрили, последняя перед ужином, на которую так торопился медицинский студент.

И только что было Иван Ильич хотел снова обратиться к новобрачной, пытаясь в этот раз допять ее каким-то каламбуром, как вдруг к ней подскочил высокий офицер и с размаху стал на одно колено. Она тотчас же вскочила с дивана и упорхнула с ним, чтоб встать в ряды кадрили. Офицер даже не извинился, а она даже не взглянула, уходя, на генерала, даже как будто рада была, что избавилась.

«Впрочем, в сущности, она в своем праве, — подумал Иван Ильич, — да и приличный они не знают». «Гм... ты бы, брат Порфирий, не церемонился, — обратился он к Пселдонимову. — Может, у тебя там есть что-нибудь... насчет распоряжений... или там что-нибудь, пожалуйста, не стесняйся». «Что он сторожит, что ли, меня?» — прибавил он про себя.

Ему становился невыносим Пселдонимов с своей длинной шеей и глазами, пристально на него устремленными. Одним словом, все это было не то, совсем не то, но Иван Ильич далеко еще не хотел в этом сознаться.

Кадриль началась.

— Прикажете, ваше превосходительство? — спросил Аким Петрович, почтительно держа в руках бутылку и готовясь налить в бокал его превосходительства.

— Я... я, право, не знаю, если...

Но уж Аким Петрович с благоговейно сияющим лицом наливал шампанское. Налив бокал, он как будто украдкой, как будто воровским образом, ежась и корчась, налил и себе с тою разницею, что себе на целый палец не долил, что было как-то почтительнее. Он был как женщина в родах, сидя подле ближайшего своего начальника. Об чем в самом деле заговорить? а развлечь его превосходительство следовало даже по обязанности, так как уж он имел честь составить ему компанию. Шампанское послужило выходом, да и его превосходительству даже приятно было, что тот налил, — не для шампанского, потому что оно было теплое и гадость естественнейшая, а так, нравственно приятно.

«Старику самому хочется выпить, — подумал Иван Ильич, — а без меня не смеет. Не задерживать же... Да и смешно, если бутылка так простоит между нами».

Он прихлебнул, и все-таки оно показалось лучше, чем так-то сидеть.

— Я ведь здесь, — начал он с расстановками и ударениями, — я ведь здесь, так сказать, случайно и, конечно, может быть, шны пайдут... что мне... так сказать, не-при-лично быть на таком... собрании.

Аким Петрович молчал и вслушивался с робким любопытством.

— Но я надеюсь, вы поймете, зачем я здесь... Ведь не вино же в самом деле я пить пришел. Хе-хе!

Аким Петрович хотел было похихикать вслед за его преросходительством, но как-то осекся и опять не ответил ровню ничего утешительного.

— Я здесь... чтобы, так сказать, ободрить... показать, так сказать, нравственную, так сказать, цель, — продолжал Иван Ильич, досадуя на тупость Акима Петровича, но вдруг и сам замолчал. Он увидел, что бедный Аким Петрович даже глаза опустил, точно в чем-то виноватый. Генерал в некотором замешательстве поспешил еще раз отхлебнуть из бокала, а Аким Петрович, как будто все спасение его было в этом, схватил бутылку и подлил снова.

«А немного ж у тебя ресурсов», — подумал Иван Ильич, строго смотря на бедного Акима Петровича. Тот же, предчувствуя на себе этот строгий генеральский взгляд, решился уж молчать окончательно и глаз не подымать. Так они просидели друг перед другом минуты две, две болезненные минуты для Акима Петровича.

Два слова об Акиме Петровиче. Это был человек смиренный, как курица, самого старого закала, взлелеянный на подобострастии и между тем человек добрый и даже благородный. Он был из петербургских русских, то есть и отец и отец отца его родились, выросли и служили в Петербурге и ни разу не выезжали из Петербурга. Это совершенно особенный тип русских людей. Об России они почти не имеют ни малейшего понятия, о чем вовсе и не тревожатся. Весь интерес их сужен Петербургом и, главное, местом их службы. Все заботы их сосредоточены около копеечного преферанса, лавочки и месячного жалованья. Они не знают ни одного русского обычая, ни одной русской песни, кроме «Лучинушки», да и то потому только, что ее играют шарманки. Впрочем, есть два существенные и незабываемые признака, по которым вы тотчас же отличите настоящего русского от петербургского русского. Первый признак состоит в том, что все петербургские русские, все без исключения, никогда не говорят: «Петербургские ведомости», а всегда говорят: «Академические ведомости». Второй, одинаково существенный, признак состоит в том, что петербургский русский никогда не употребляет слово: «завтрак», а всегда говорит: «фрыштик», особенно напирая

на звук *фры*. По этим двум коренным и отличительным признакам вы их всегда различите; одним словом, это тип смиренный и окончательно выработавшийся в последние тридцать пять лет. Впрочем, Аким Петрович был вовсе не дурак. Спроси его генерал о чем-нибудь подходящем к нему, он бы и ответил и поддержал разговор, а то ведь неприлично подчиненному и отвечать-то на такие вопросы, хотя Аким Петрович умирал от любопытства узнать что-нибудь подробнее о настоящих намерениях его превосходительства...

А между тем Иван Ильич все более и более впадал в раздумье и в какое-то коловращение идей; в рассеянности он неприметно, но поминутно прихлебывал из бокала. Аким Петрович тотчас же и усерднейше ему подливал. Оба молчали. Иван Ильич начал было смотреть на танцы, и вскоре они несколько привлекли его внимание. Вдруг одно обстоятельство даже удивило его...

Танцы действительно были веселы. Тут именно танцевалось в простоте сердец, чтоб веселиться и даже беситься. Из танцоров ловких было очень немного; но не ловкие так сильно притопывали, что их можно было принять и за ловких. Отличался, во-первых, офицер: он особенно любил фигуры, где оставался один, вроде соло. Тут он удивительно изгибался, а именно: весь, прямой как верста, он вдруг склонялся набок, так что вот, думаешь, упадет; но с следующим шагом он вдруг склонялся в противоположную сторону, под тем же косым углом к полу. Выражение лица он наблюдал серьезнейшее и танцевал в полном убеждении, что ему все удивляются. Другой кавалер со второй фигуры заснул подле своей дамы, нагрузившись предварительно еще до кадрили, так что дама его должна была танцевать одна. Молодой регистратор, отплясывавший с дамой в голубом шарфе, во всех фигурах и во всех пяти кадрилях, которые протанцованы были в этот вечер, выкидывал все одну и ту же штуку: а именно, он несколько отставал от своей дамы, подхватывал кончик ее шарфа и на лету, при переходе визави, успевал втиснуть в этот кончик десятка два поцелуев. Дама же, впереди его, плыла, как будто ничего не замечая. Медицинский студент действительно сделал соло вверх ногами и произвел неистовый восторг, топот и взвизги удовольствия.

Одним словом, непринужденность была чрезвычайная. Иван Ильич, на которого и вино подействовало, начал было улыбаться, но мало-помалу какое-то горькое сомнение начало закрадываться в его душу: конечно, он очень любил развязность и непринужденность; он желал, он даже душевно звал ее, эту развязность, когда они все пилились, и вот теперь эта развязность уже стала выходить из грани. Одна дама, например, в истертом синем бархатном платье, перекупленном из четвертых рук, в шестой фигуре зашпилила свое платье булавками, так что выходило, как будто она в панталонах. Это была та самая Клеопатра Семеновна, с которой можно было все рискнуть, по выражению ее кавалера, медицинского студента. Об медицинском студенте и говорить было нечего: просто Фокни. Как же это? То пилились, а тут вдруг так скоро эмансипировались! Кажись бы, и ничего, но как-то странно был этот переход: он что-то предвещал. Точно совсем они и забыли, что есть на свете Иван Ильич. Разумеется, он хохотал первый и даже рискнул аплодировать. Аким Петрович почтительно хихикал ему в унисон, хотя, впрочем, с видимым удовольствием, и не подозревая, что его превосходительство начинал уже откармливать в сердце своем нового червяка.

— Славно, молодой человек, танцуете, — принужден был Иван Ильич сказать студенту, проходившему мимо, только что кончилась кадрили.

Студент круто повернулся к нему, скорчил какую-то гримасу и, приблизив свое лицо к его превосходительству на близкое до неприличия расстояние, во все горло прокричал петухом. Это уже было слишком. Иван Ильич встал из-за стола. Несмотря на то, последовал залп неудержимого хохоту, потому что крик петуха был удивительно натурален, а вся гримаса совершенно неожиданна. Иван Ильич еще стоял в недоумении, как вдруг явился сам Пселдонимов и, кланяясь, стал просить к ужину. Вслед за ним явилась и мать его.

— Батюшка, ваше превосходительство. — говорила она, кланяясь, — окажите честь, не погнушайтесь нашей бедностью...

— Я... я, право, не знаю... — начал было Иван Ильич, — я ведь не для того... я... хотел было уж идти...

Действительно, он держал в руках шапку. Мало того: тут же, в это самое мгновение, он дал себе честное слово непременно, сейчас же, во что бы то ни стало уйти и ни за что не оставаться и... и остался. Через минуту он открыл шествие к столу. Пселдонимов и мать его шли перед ним и раздвигали ему дорогу. Посадили его на самое почетное место, и опять непочатая бутылка шампанского очутилась перед его прибором. Стояла закуска: селедка и водка. Он протянул руку, сам налил огромную рюмку водки и выпил. Он никогда прежде не пил водки. Он чувствовал, что как будто катится с горы, летит, летит, летит, что надо бы удержаться, уцепиться за что-нибудь, но нет к тому никакой возможности.

Действительно, положение его становилось все более и более эксцентрическим. Мало того: это была какая-то насмешка судьбы. С ним бог знает что произошло в какой-нибудь час. Когда он входил, он, так сказать, простирая объятия всему человечеству и всем своим подчиненным; и вот не прошло какого-нибудь часу, и он, всеми болями своего сердца, слышал и знал, что он ненавидит Пселдонимова, проклинает его, жену его и свадьбу его. Мало того: он по лицу, по глазам одним видел, что и сам Пселдонимов его ненавидит, что он смотрит, чуть-чуть не говоря: «А чтоб ты провалился, проклятый! Навязался на шею!» Все это он уже давно прочел в его взгляде.

Конечно, Иван Ильич даже и теперь, садясь за стол, дал бы себе скорее руку отсечь, чем признался бы некрещено, не только вслух, но даже себе самому, что все это действительно точно так было. Минута еще виаполе не пришла, а теперь еще было какое-то нравственное балансе. Но сердце, сердце... оно ныло! оно просилось на волю, на воздух, на отдых. Ведь слишком уж добрый человек был Иван Ильич.

Он ведь знал, очень хорошо знал, что еще давно бы надо было уйти, и не только уйти, но даже спастись. Что все это вдруг стало не тем, ну совершенно не так обернулось, как мечталось давеча на мостках.

«Я ведь зачем пришел? Я разве затем пришел, чтоб здесь есть и пить?» — спрашивая он себя, закусывая

селедку. Он даже приходил в отрицание. В душе его шевелилась мгновениями прошля на собственный подвиг. Он начинал даже сам не понимать, зачем в самом деле он вошел?

Но как было уйти? Так уйти, не докончив, было невозможно. «Что скажут? Скажуг, что я по неприличным местам таскаюсь. Оно даже и в самом деле выйдет так; если не докончить. Что скажет, например, завтра же (потому что ведь везде разнесется) Степан Никифорыч, Семен Иваныч, в канцеляриях, у Шембелей, у Шубиных? Нет, надо так уйти, чтоб они все поняли, зачем я приходил, надо нравственную цель обнаружить... — А между тем патетический момент никак не давался. — Они даже не уважают меня, — продолжал он. — Чему они смеются? Они так развязны, как будто бесчувственные... Да, я давно подозревал все молодое поколение в бесчувственности! Надо остаться во что бы то ни стало!.. Теперь они танцевали, а вот за столом будут в сборе... Заговорю о вопросах, о реформах, о величии России... я их еще увлеку! Да! может быть, еще совершенно ничего не потеряю... Может быть, так и всегда бывает в действительности. С чего бы только с ними начать, чтоб их привлечь? Какой бы это такой прием изобрести? теряюсь, просто теряюсь... И чего им надо, чего они требуют?.. Я вижу, они там пересмеиваются... Уж не надо мной ли, господи боже! Да чего мне-то надо... я-то чего здесь, чего я-то не уйду, чего добиваюсь?..» Он думал это, и какой-то стыд, какой-то глубокий, невыносимый стыд все более и более надрывал его сердце.

Но все уж так и шло, одно к другому.

Ровно две минуты спустя, как он сел за стол, одна страшная мысль овладела всем существом его. Он вдруг почувствовал, что ужасно пьян, то есть не так, как прежде, а пьян окончательно. Причиною тому была рюмка водки, выпитая вслед за шампанским и оказавшая немедленное действие. Он чувствовал, слышал всем существом своим, что слабеет окончательно. Конечно, куражу прибавилось много, но сознание не оставляло его и кричало ему: «Нехорошо, очень нехорошо, и даже совсем неприлично!» Конечно, неустойчивые пьяные думы

не могли остановиться на одной точке: в нем вдруг явились, даже осязательно для него же самого, какие-то две стороны. В одной был кураж, желание победы, инспровержение препятствий и отчаянная уверенность в том, что он еще достигнет цели. Другая сторона давала себя знать мучительным нытьем в душе и каким-то за-сосом на сердце. «Что скажут? чем это кончится? что завтра-то будет, завтра, завтра!..»

Прежде он как-то глухо предчувствовал, что между гостями у него уже есть враги. «Это оттого, что я, верно, и давеча был пьян», — подумал он с мучительным сомнением. Каков же был его ужас, когда он действительно, по несомненнейшим признакам, уверился теперь, что за столом действительно были враги его и что в этом уже нельзя сомневаться.

«И за что! за что!» — думал он.

За этим столом поместились все человек тридцать гостей, из которых уже некоторые были окончательно готовы. Другие вели себя с какою-то небрежною, злокачественною независимостью, кричали, говорили все вслух, провозглашали преждевременно тосты, перестреливались с дамами хлебными шариками. Один, какая-то невзрачная личность в засаленном сюртуке, упал со стула, как только сел за стол, и так и оставался до самого окончания ужина. Другой хотел непременно взлезть на стол и провозгласить тост, и только офицер, схватив его за фалды, умерил преждевременный восторг его. Ужин был совершенно разночинный, хотя и напимался для него повар, крепостной человек какого-то генерала: был галантур, был язык под картофелем, были котлетки с зеленым горошком, был, наконец, гусь, и под конец всего бламанже. Из вин было: пиво, водка и херес. Бутылка шампанского стояла перед одним генералом, что принудило его самого налить и Акиму Петровичу, который собственной своей инициативой за ужином уже не смел распорядиться. Для тостов же прочим гостям предназначалось горское или что пошло. Самый стол состоял из многих столов, составленных вместе, в число которых пошел даже ломберный. Накрыт он был многими скатертями, в числе которых была одна ярославская цветная. Гости сидели попеременно с дамами. Родительница Пселдонимова сидеть за столом не захотела; она хлопотала и распоряжалась. Зато явилась

одна злокачественная женская фигура, не показывавшаяся прежде, в каком-то красноватом шелковом платье, с подвязанными зубами и в высочайшем чепчике. Оказалось, что эта была мать невесты, согласившаяся выйти, наконец, из задней комнаты к ужину. До сих пор она не выходила по причине непримиримой своей вражды к матери Пселдонимова; но об этом упомянем после. На генерала эта дама смотрела злобно, даже насмешливо, и, очевидно, не хотела быть ему представленной. Ивану Ильичу эта фигура показалась до крайности подозрительною. Но кроме нее и некоторые другие лица были подозрительны и вселяли невольное опасение и беспокойство. Казалось даже, что они в каком-то заговоре между собою, и именно против Ивана Ильича. По крайней мере ему самому так казалось, и в продолжение всего ужина он все более и более в том убеждался. А именно: злокачествен был один господин с бородкой, какой-то вольный художник; он даже несколько раз посмотрел на Ивана Ильича и потом, повернувшись к соседу, что-то ему шептал. Другой, из учащих, был, правда, совершенно уж пьян, но все-таки по некоторым признакам подозрителен. Худые надежды подавал тоже и медицинский студент. Даже сам офицер был не совсем благонадежен. Но особенно и видимою ненавистью сиял сотрудник «Головешки»: он так развалился на стуле, он так гордо и заносчиво смотрел, так независимо фыркал! И хоть прочие гости и не обращали никакого особенного внимания на сотрудника, написавшего в «Головешке» только четыре стиха и сделавшегося оттого либералом, даже, видимо, не любили его, но когда возле Ивана Ильича упал вдруг хлебный шарик, очевидно назначавшийся в его сторону, то он готов был дать голову на отсечение, что виновник этого шарика был не кто другой, как сотрудник «Головешки».

Все это, конечно, действовало на него плачевным образом.

Особенно неприятно было и еще одно наблюдение: Иван Ильич совершенно убедился, что он начиняет как-то неясно и затруднительно выговаривать слова, что сказать хочется очень много, но язык не двигается. Потом, что вдруг он как будто стал забываться и, главное, ни с того ни с сего вдруг фыркнет и засмеется, тогда как вовсе нечему было смеяться. Это расположение скоро

прошло после стакана шампанского, который Иван Ильич хоть и налил было себе, но не хотел пить, и вдруг выпил как-то совершенно печально. Ему вдруг после этого стакана захотелось чуть не плакать. Он чувствовал, что впадает в самую эксцентрическую чувствительность; он снова начинал любить, любить всех, даже Пселдонимова, даже сотрудника «Головешки». Ему захотелось вдруг обняться с ними со всеми, забыть все и помириться. Мало того: рассказать им все откровенно, все, все, то есть какой он добрый и славный человек, с какими великолепными способностями. Как будет он полезен отечеству, как умеет смешить дамский пол, и главное, какой он прогрессист, как гуманно он готов сплззойти до всех, до самых низших, и, наконец, в заключение, откровенно рассказать все мотивы, побудившие его, незваного, явиться к Пселдонимову, выпить у него две бутылки шампанского и осчастливить его своим присутствием.

«Правда, святая правда прежде всего и откровенность! Я откровенностью их дойму. Они мне поверят, я вижу ясно; они даже смотрят враждебно, но когда я открою им все, я их покорию неотразимо. Они наполнят рюмки и с криком выпьют за мое здоровье. Офицер, я уверен в этом, разобьет свою рюмку о шпору. Даже можно бы прокричать ура! Даже если б покачать вздумали по-гусарски, я бы и этому не противился, даже и весьма бы хорошо было. Новобрачную я поцелую в лоб; она миленькая. Аким Петрович тоже очень хороший человек. Пселдонимов, конечно, впоследствии исправится. Ему недостает, так сказать, этого светского лоску... И хотя, конечно, нет этой сердечной деликатности у всего этого нового поколения, но... но я скажу им о современном назначении России в числе прочих европейских держав. Упомяну и о крестьянском вопросе, да и... и все они будут любить меня, и я выйду со славою!..»

Эти мечты, конечно, были очень приятны, но неприятно было то, что среди всех этих розовых надежд Иван Ильич вдруг открыл в себе еще одну неожиданную способность: именно плевать. По крайней мере слюна вдруг начала выскакивать из его рта совершенно помимо его воли. Заметил он это на Акиме Петровиче, которому забрызгал щеку и который сидел, не смея сейчас

же утереться из почтительности. Иван Ильич взял салфетку и вдруг сам утер ею. Но это тотчас же показалось ему самому до того нелепым, до того вне всего здравого, что он замолчал и начал удивляться. Аким Петрович хоть и выпил, но все-таки сидел как обваренный. Иван Ильич сообразил теперь, что он уже чуть не четверть часа говорит ему о какой-то самой интереснейшей теме, но что Аким Петрович, слушая его, не только как будто конфузился, но даже чего-то боялся. Пселдонимов, сидевший через стул от него, тоже протягивал к нему свою шею и, наклонив набок голову, с самым неприятным видом прислушивался. Он действительно как будто сторожил его. Окинув глазами гостей, он увидал, что многие смотрят прямо на него и хохочут. Но страннее всего было то, что при этом он вовсе не сконфузился, напротив того, он хлебнул еще раз из бокала и вдруг во всеуслышание начал говорить.

— Я сказал уже! — начал он как можно громче, — я сказал уже, господа, сейчас Акиму Петровичу, что Россия... да, именно Россия... одним словом, вы понимаете, что я хочу ска-ка-зять... Россия переживает, по моему глубочайшему убеждению, гу-гуманность...

— Гу-гуманность! — раздалось на другом конце стола.

— Гу-гу!

— Тю-тю!

Иван Ильич было остановился. Пселдонимов встал со стула и начал разглядывать: кто крикнул? Аким Петрович украдкой покачивал головою, как бы усовещивая гостей. Иван Ильич это очень хорошо заметил, но с мучением смолчал.

— Гуманность! — упорно продолжал он, — и давеча... и именно давеча я говорил Степану Ники-ки-форовичу... да... что... что обновление, так сказать, вещей...

— Ваше превосходительство! — громко раздалось на другом конце стола.

— Что прикажете? — отвечал прерванный Иван Ильич, стараясь разглядеть, кто ему крикнул.

— Ровно ничего, ваше превосходительство, я увлекся, продолжайте! пра-дал-жайте! — слышался опять голос.

Ивана Ильича передернуло.

— Обновление, так сказать, этих самых вещей...

- Ваше превосходительство! — крикнул опять голос.
— Что вам угодно?
— Здравствуйте!

На этот раз Иван Ильич не выдержал. Он прервал речь и оборотился к нарушителю порядка и обидчику. Это был один еще очень молодой учащийся, сильно наклюкавшийся и возбуждавший огромные подозрения. Он уже давно орал и даже разбил стакан и две тарелки, утверждая, что на свадьбе как будто бы так и следует. В ту минуту, когда Иван Ильич оборотился к нему, офицер строго начал распекать крикуна:

— Что ты, чего орешь? вывести тебя, вот что!

— Не про вас, ваше превосходительство, не про вас! продолжайте! — кричал развеселившийся школьник, развалившись на стуле, — продолжайте, я слушаю и очень, о-чень, о-чень вами доволен! Па-хвально, па-хвально!

— Пьяный мальчишка! — шепотом подсказал Пселдоннов.

— Вижу, что пьяный, но...

— Это я рассказал сейчас один забавный анекдот-с, ваше превосходительство! — начал офицер, — про одного поручика нашей команды, который точно так же разговаривал с начальством; так вот он теперь и подражает ему. К каждому слову начальника он все говорил: па-хвально, па-хвально! Его еще десять лет назад за это из службы выключили.

— Ка-кой же это поручик?

— Нашей команды, ваше превосходительство, сошел с ума на похвальном. Сначала увещевали мерами кротости, потом под арест... Начальник родительским образом усовещивал; а тот ему: па-хвально, па-хвально! И странно: мужественный был офицер, девяти вершков росту. Хотели под суд отдать, но заметили, что помещанский.

— Значит... школьник. За школьничество можно бы и не так строго... Я с своей стороны готов простить...

— Медицинной свидетельствовали, ваше превосходительство.

— Как! ана-то-мировали?

— Помилуйте, да ведь он был совершенно живой-с.

Громкий и почти всеобщий залп хохоту раздался между гостями, сначала было державшими себя чинно. Иван Ильич рассвирепел.

— Господа, господа! — закричал он, на первое время даже почти не заикаясь, — я очень хорошо в состоянии различить, что живого не анатомируют. Я полагаю, что он в помешательстве был уже не живой... то есть умер... то есть я хочу сказать... что вы меня не любите... А между тем я люблю вас всех... да, и люблю Пор... Порфирия... Я унижаю себя, что так говорю...

В эту минуту преогромная салива¹ вылетела из уст Ивана Ильича и брызнула на скатерть, на самое видное место. Пселдонимов бросился обтирать ее салфеткой. Это последнее несчастье окончательно подавило его.

— Господа, это уж слишком! — прокричал он в отчаянии.

— Пьяный человек, ваше превосходительство, — снова было подсказал Пселдонимов.

— Порфирий! Я вижу, что вы... все... да! Я говорю, что я надеюсь... да, я вызываю всех сказать: чем я унижил себя?

Иван Ильич чуть не плакал.

— Ваше превосходительство, помилуйте-с!

— Порфирий, обращаюсь к тебе... Скажи, если я пришел... да... да, на свадьбу, я имел цель. Я хотел нравственно поднять... я хотел, чтоб чувствовали. Я обращаюсь ко всем: очень я унижен в ваших глазах или нет?

Гробовое молчание. В том-то и дело, что гробовое молчание, да еще на такой категорический вопрос. «Ну, что бы им, что бы им хоть в эту минуту прокричать!» — мелькнуло в голове его превосходительства. Но гости только переглядывались. Аким Петрович сидел ни жив ни мертв, а Пселдонимов, немея от страха, повторял про себя ужасный вопрос, который давно уже ему представлялся:

«А что-то мне за все это завтра будет?»

Вдруг сотрудник «Головешки», уже сильно пьяный, но сидевший до сих пор в угрюмом молчании, обратился прямо к Ивану Ильичу и с сверкающими глазами стал отвечать от лица всего общества.

— Да-с! — закричал он громовым голосом, — да-с, вы унизили себя, да-с, вы ретроград... Рет-ра-град!

¹ с а л и в а (от франц. — *salive*) — слюна.

— Молодой человек, опомнитесь! с кем вы, так сказать, говорите! — яростно закричал Иван Ильич, снова вскочив с своего места.

— С вами, и, во-вторых, я не молодой человек... Вы пришли ломаться и искать популярности.

— Пселдонимов, что это! — вскричал Иван Ильич.

Но Пселдонимов вскочил в таком ужасе, что оставил как столб и совершенно не знал, что предпринять. Гости тоже онемели на своих местах. Художник и учащийся аплодировали, кричали браво, браво!

Сотрудник продолжал кричать с неудержимой яростью:

— Да, вы пришли, чтоб похвалиться гуманностью! Вы помешали всеобщему веселью. Вы пили шампанское и не сообразили, что оно слишком дорого для чиновника с десятью рублями в месяц жалованья, и я подозреваю, что вы один из тех начальников, которые лакомы до молоденьких жён своих подчинённых! Мало того, я уверен, что вы поддерживаете откупа... Да, да, да!

— Пселдонимов, Пселдонимов! — кричал Иван Ильич, простирая к нему руки. Он чувствовал, что каждое слово сотрудника было новым кинжалом для его сердца.

— Сейчас, ваше превосходительство, не извольте беспокоиться! — энергически вскрикнул Пселдонимов, подскочил к сотруднику, схватил его за шиворот и вытащил вон из-за стола. Даже и нельзя было ожидать от титедушного Пселдонимова такой физической силы. Но сотрудник был очень пьян, а Пселдонимов совершенно трезв. Затем он задал ему несколько тумачков в спину и вытолкал его в дверь.

— Все вы подлецы! — кричал сотрудник, — я вас всех завтра же в «Головешке» окарикатурю!..

Все повскакали с мест.

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство! — кричали Пселдонимов, его мать и некоторые из гостей, толпясь около генерала, — ваше превосходительство, успокойтесь!

— Нет, нет! — кричал генерал, — я уничтожен... я пришел... и хотел, так сказать, крестить. И вот за все, за все!

Он опустился на стул, как без памяти, положил обе руки на стол и склонил на них свою голову, прямо в тарелку с бляманже. Нечего и описывать всеобщий ужас. Через минуту он встал, очевидно желая уйти, покачнулся, зашпунелся за ножку стула, упал со всего размаха на пол и захрапел.

Это бывает с пьющими, когда они случайно напьются. До последней черты, до последнего мгновения сохраняют они сознание и потом вдруг падают как подкошенные. Иван Ильич лежал на полу, потеряв всякое сознание. Пселдонимов схватил себя за волосы и замер в этом положении. Гости стали поспешно расходиться, каждый по-своему толкуя о происшедшем. Было уже около трех часов утра.

Главное дело в том, что обстоятельства Пселдонимова были гораздо хуже того, чем можно было их представить, несмотря на всю непривлекательность и одной теперешней обстановки. И покамест Иван Ильич лежит на полу, а Пселдонимов стоит над ним, в отчаянии теребя свои волосы, прервем избранное нами течение рассказа и скажем несколько пояснительных слов собственно о Порфирии Петровне Пселдонимове.

Еще не далее, как за месяц до своего брака, он погибал совершенно безвозвратно. Происходил он из губернии, где отец его чем-то когда-то служил и где умер под судом. Когда, месяцев пять до женитьбы, Пселдонимов, целый уже год погибавший в Петербурге, получил свое десятирублевое место, он было воскрес и телом и духом, но вскоре опять принизился обстоятельствами. На всем свете Пселдонимовых осталось только двое, он и мать его, бросившая губернию после смерти мужа. Мать и сын погибали вдвоем на морозе и питались сомнительными матерьялами. Бывали дни, что Пселдонимов с кружкой сам ходил на Фонтанку за водой, чтоб там и напиться. Получив место, он кое-как устроился вместе с матерью где-то в углах. Она принялась стирать на людей белье, а он месяца четыре сколачивал экономню, чтоб как-нибудь завести себе сапоги и шинельшку. И сколько бедствий он вынес в своей канцелярии: к нему подходило начальство с вопросом,

давно ли он был в бане? Про него ходила молва, что у него под воротником вицмундира гнездами заводятся клопы. Но Пселдонимов был характера твердого. С виду он был и смирен и тих; образование имел самое маленькое, разговору от него почти не было слышно никогда. Не знаю положительно; мыслил ли он, создал ли планы и системы, мечтал ли об чем-нибудь? Но взамен того в нем выработывалась какая-то инстинктивная, кражевая, бессознательная решимость выбиться на дорогу из скверного положения. В нем было упорство муравьиное; у муравьев разорите гнездо, и они тотчас же вновь начнут создавать его, разорите другой раз — и другой раз начнут, и так далее без устали. Это было существо устроительное и домовитое. На лбу его было видно, что он добьется дороги, устроит гнездо и, может быть, даже скопит и про запас. Одна только мать и любила его в целом свете и любила без памяти. Женщина она была твердая, неустанная, работающая, а вместе с тем и добрая. Так бы и жили они в своих углах, может быть, еще лет пять или шесть, до перемены обстоятельств, если б не столкнулись они с оставшим титулярным советником Млекопитаевым, бывшим казначеем и служившим когда-то в губернии, в последнее же время основавшимся и устроившим себя в Петербурге с своим семейством. Пселдонимова он знал и отцу его был чем-то когда-то обязан. Деньжонки у него водились, конечно, небольшие, но они были; сколько их действительно было, — про это никто не знал, ни жена его, ни старшая дочь, ни родственники. Было у него две дочери, а так как он был страшный самодур, пьяница, домашний тиран и, сверх того, большой человек, то и вздумалось ему вдруг выдать одну дочь за Пселдонимова: «Я, дескать, знаю его, отец его был хороший человек, и сын будет хороший человек». Млекопитаев что хотел, то и делал; сказано, сделано. Это был очень странный самодур. Большею частию он проводил время, сидя на креслах, лишившись употребления ног от какой-то болезни, что не мешало ему, однако ж, пить водку. По целым дням он пил и ругался. Человек он был злой; ему надобно было непременно кого-нибудь и непрерывно мучить. Для этого он держал при себе несколько дальних родственников: свою сестру, большую и сварливую,

двух сестер жены своей, тоже злых и многоязычных; потом свою старую тетку, у которой по какому-то случаю было сломано одно ребро. Держал еще одну приживалку, обрусевшую немку, за талант ее рассказывать ему сказки из «Тысячи одной ночи». Все удовольствие его состояло шпынять над всеми этими несчастными нахлебницами, ругать их поминутно и на чем свет стоит, хотя те, не исключая и жены его, родившейся с зубною болью, не смели пред ним пикнуть слова. Он ссорил их между собою, изобретал и заводил между ними сплетни и раздоры и потом хохотал и радовался, видя, как все они чуть не дерутся между собою. Он очень обрадовался, когда старшая дочь его, бедствовавшая лет десять с каким-то офицером, своим мужем, и, наконец, овдовевшая, переселилась к нему с тремя маленькими больными детьми. Детей ее он терпеть не мог, но так как с появлением их увеличился матерьял, над которым можно было производить ежедневные эксперименты, то старик был очень доволен. Вся эта куча злых женщин и больных детей вместе с их мучителем теснилась в деревянном доме на Петербургской, недослала, потому что старик был скуп и деньги выдавал копейками, хотя и не жалел себе на водку; недосыпала, потому что старик страдал бессонницею и требовал развлечений. Одним словом, все это бедствовало и проклиняло судьбу свою. В это-то время Млекопитаев и нагледел Пселдонимова. Он был поражен его длинным носом и смиренным видом. Тщедушной и невзрачной младшей дочке его минуло тогда семнадцать лет. Она хотя и ходила когда-то в какую-то немецкую школу¹, но из нее почти ничего, кроме азбуки, не вынесла. Затем росла, золотушная и худосочная, под костью безногого и пьяного родителя, в содоме домашних сплетней, шпионств и наговоров. Подруг у ней никогда не бывало, ума тоже. Замуж ей давно уже хотелось. При людях была она бессловесна, а дома, возле маньки и приживалок, зла и сверлива, как буравчик. Она особенно любила шпынаться и раздавать колотушки детям сестры своей, фискалить на них за утащенный сахар и хлеб, отчего между ней и старшей сестрой ее существовала бесконечная и

¹ ш у л е (от нем. — Schule). — школа.

неутолимая ссора. Старик сам предложил ее Пселдонимову. Как ни бедствовал тот, но, однако, попросил несколько времени на размышление. Долго они вместе с матерью раздумывали. Но на невестиню имя записывали дом, хоть и деревянный, хоть и одноэтажный и гаденький, но все-таки чего-нибудь стоявший. Сверх того, давали четыреста рублей. — когда-то их сам-то накопишь! «Я ведь к чему беру в дом человека? — кричал пьяный самодур. — Во-первых, для того, что все вы бабье, а мне надоело одно бабье. Я хочу, чтоб и Пселдонимов по моей дудке плясал, потому я ему благодетель. Во-вторых, потому беру, что вы все того не хотите и злитесь. Ну так вот назло вам и сделаю. Что сказал, то и сделаю! А ты, Порфирка, ее бей, когда женой тебе будет; в ней семь бесов от рождения сидит. Всех изгони, и клюку изготавлю...»

Пселдонимов молчал, но он уж решил. Их с матерью приняли в дом еще до свадьбы, обмыли, одели, обули, дали денег на свадьбу. Старик их покровительствовал, может быть именно потому, что все семейство на них злобствовало. Старуха Пселдонимова ему даже понравилась, так что он удерживался и над ней не шпынял. Впрочем, самого Пселдонимова заставил еще за неделю до свадьбы проплясать перед собой казачка. «Ну довольно, я хотел только видеть, не забываешься ли ты передо мной», — сказал он по окончании танца. Денег он дал на свадьбу в обрез и созвал всех родственников и знакомых своих. Со стороны Пселдонимова был только сотрудник «Головешки» и Аким Петрович, почетный гость. Пселдонимов очень хорошо знал, что невеста к нему питает отвращение и что ей очень бы хотелось за офицера, а не за него. Но он все переносил, уж такой у них уговор был с матерью. Весь свадебный день и весь вечер старик ругался скверными словами и пьянствовал. Вся семья по случаю свадьбы приютилась в задних комнатах и стеснилась там до смрада. Передние же комнаты предназначались для бала и ужина. Наконец, когда старик заснул, совершенно пьяный, часов в одиннадцать вечера, мать невесты, особенно злившаяся в этот день на мать Пселдонимова, решила переменить гнев на милость и выйти к балу и к ужину. Появление Ивана Ильича все перевернуло. Млекопитаева сконфузилась, обиделась и

начала ругаться, зачем ее не предупредили, что звали самого генерала. Ее уверяли, что он пришел сам, незванный, — она была так глупа, что не хотела верить. Потребовалось шампанское. У матери Пселдонимова нашелся один только целковый, у самого Пселдонимова ни копейки. Надо было кланяться злой старухе Млекопитаевой, просить денег на одну бутылку, потом на другую. Ей представляли будущность служебных отношений, карьеру, услащивали. Она дала, наконец, собственные деньги, но заставила Пселдонимова выпить такую чашу желчи и оцта, что он, уже неоднократно вбегая в комнатку, где приготовлено было брачное ложе, схватывал себя молча за волосы и бросался головой на постель, предназначенную для райских наслаждений, весь дрожа от бессильной злости. Да! Иван Ильич не знал, чего стоили две бутылки джаксона, выпитые им в этот вечер. Каковы же были ужас Пселдонимова, тоска и даже отчаяние, когда дело с Иваном Ильичом окончилось таким неожиданным образом. Опять представлялись хлопоты и, может быть, на целую ночь взвизги и слезы капризной новобрачной, укору бестолковой невестинной родни. У него и без того уже голова болела, и без того уже чад и мрак застилали ему глаза. А тут Ивану Ильичу потребовалась помощь, надо было искать в три часа утра доктора или карету, чтобы свезти его домой, и непременно карету, потому что на ваньке в таком виде и такую особу нельзя было отправить домой. А где взять денег хотя бы для кареты? Млекопитаева, взбешенная тем, что генерал не сказал с ней двух слов и даже не посмотрел на нее за ужином, объявила, что у ней нет ни копейки. Может быть, и в самом деле не было ни копейки. Где взять? Что делать? Да, было отчего терзать себе волосы.

Между тем Ивана Ильича покамест перенесли на маленький кожаный диван, стоявший тут же в столовой. Покамест убрали со столов и разбирали их, Пселдонимов бросался во все углы занять денег, пробовал даже занять у прислуги, но ни у кого ничего не оказалось. Он даже рискнул было побеспокоить Акима Петровнча, остававшегося дольше других. Но тот, хоть

и добрый человек, услышав о деньгах, пришел в такое недоумение и в такой даже испуг, что наговорил самой неожиданной дряни.

— В другое время я с удовольствием, — бормотал он, — а теперь... право, меня извините...

И, взяв шапку, поскорей бежал из дому. Один только добросердечный юноша, рассказывавший про сонник, еще пригодился на что-нибудь, да и то искстатн. Он тоже оставался дольше всех, принимая сердечное участие в бедствиях Пселдонимова. Наконец, Пселдонимов, мать его и юноша решили на общем совете не посылать за доктором, а лучше послать за каретой и свезти больного домой, а покамест, до кареты, испробовать над ним некоторые домашние средства, как то: смачивать виски и голову холодной водой, прикладывать к темени льду и проч. За это уж взялась мать Пселдонимова. Юноша полетел отыскивать карету. Так как на Петербургской даже и ванек в этот час уже не было, то он отправился к извозчикам куда-то далеко на подворье, разбудил кучеров. Стали торговаться, говорили, что в такой час за карету и пяти рублей взять мало. Согласились, однако ж, на трех. Но когда, уже в исходе четвертого часа, юноша прибыл в нанятой карете к Пселдонимовым, у них уже давно переменилось решенье. Оказалось, что Иван Ильич, который был все еще не в памяти, до того разболелся, до того стонал и метался, что переносить его и везти в таком состоянии домой стало совершенно невозможным и даже рискованным. «Еще что из этого выйдет?» — говорил совершенно обескураженный Пселдонимов. Что было делать? Возник новый вопрос. Если уж оставить больного дома, то куда же перенести его и где положить? Во всем доме было только две кровати: одна огромная, двуспальная, на которой спали старик Млекопитаев с супругою, и другая новокупленная, под орех, тоже двуспальная и назначенная для новобрачных. Все прочие обитатели, или, лучше сказать, обитательницы дома, спали на полу, вповалку, более на перинах, отчасти уже попортившихся и продушенных, то есть вовсе не приличных, да и тех было ровно в обрез; даже и того не было. Куда же положить больного? Перина-то бы еще, пожалуй, и нашлась, — можно было

вытащить из-под кого-нибудь в крайнем случае, но где и на чем постлать. Оказалось, что постлать надо в зале, так как комната эта была отдаленнейшею от недр семейства и имела свой особый выход. Но на чем постлать? неужели на стульях? Известно, что на стульях стелют только одним гимназистам, когда они приходят с субботы на воскресенье домой, а для особы, как Иван Ильич, это было бы очень неуважительно. Что сказал бы он назавтра, увидя себя на стульях? Пселдонимов и слышать не хотел об этом. Оставалось одно: перенести его на брачное ложе. Это брачное ложе, как мы уже сказали, было устроено в маленькой комнатке, тотчас же подле столовой. На кровати был двуспальный, еще не обновленный, новокупленный матрас, чистое белье, четыре подушки в розовом колениноре, а сверху в кисейных чехлах, обшитых рюшем. Одеяло было атласное, розовое, выстеганное узором. Из золотого кольца сверху опускались кисейные занавески. Одним словом, все было как следует, и гости, почти все перебивавшие в спальне, похвалили убранство. Новобрачная, хоть и терпеть не могла Пселдонимова, но в продолжение вечера несколько раз, и особенно украдкой, забегала сюда посмотреть. Каково же было ее негодование, ее злость, когда она узнала, что на ее брачное ложе хотят перенести больного, заболевшего чем-то вроде холерыны! Мамсенька новобрачной вступилась было за нее, бранилась, обещалась назавтра же жаловаться мужу; но Пселдонимов показал себя и настоящим: Ивана Ильича перенесли, а новобрачным постлали в зале на стульях. Молодая хныкала, готова была шипаться, но ослушаться не посмела: у папаша был костьюль, ей очень знакомый, и она знала, что папаша непременно завтра потребует кой в чем подробного отчета. В утешение ее перенесли в залу розовое одеяло и подушки в кисейных чехлах. В эту-то минуту и прибыл юноша с каретой; узнав, что карета уже не нужна, он ужасно испугался. Приходилось платить ему самому, а у него и гривенника еще никогда не было. Пселдонимов объявил свое полное банкротство. Пробовали уговорить извозчика. Но он начал шуметь и даже стучать в ставни. Чем это кончилось, подробно не знаю. Кажется, юноша отправился в этой карете плес-

ником на Пески, в четвертую Рождественскую улицу, где он надеялся разбудить одного студента, заночевавшего у своих знакомых, и попытаться: нет ли у него денег? Был уже пятый час утра, когда молодых оставили и заперли в зале. У постели страждущего осталась на всю ночь мать Пселдонимова. Она приотилась на полу, на коврике, и накрылась шубенкой, но спать не могла, потому что принуждена была вставать поминутно: с Иваном Ильичом сделалось ужасное расстройство желудка. Пселдонимова, женщина мужественная и великодушная, раздела его сама, сняла с него все платье, ухаживала за ним, как за родным сыном, и всю ночь выносила через коридор из спальни необходимую посуду и вносила ее опять. И, однако ж, несчастья этой ночи еще далеко не кончились.

Не прошло десяти минут, после того как молодых заперли одних в зале, как вдруг послышался раздражающий крик, не отрадный крик, а самого злокачественного свойства. Вслед за криками послышался шум, треск, как будто падение стульев, и вмиг в комнату, еще темную, неожиданно ворвалась целая толпа ахающих и испуганных женщин, во всевозможных де-забиле. Эти женщины были: мать новобрачной, старшая сестра ее, бросившая на это время своих больных детей, три ее тетки, приплелась даже и та, у которой было сломанное ребро. Даже кухарка была тут же, даже приживалка цемка, рассказывавшая сказки, изпод которой вытаскили силой для новобрачных ее собственную перину, лучшую в доме и составлявшую все ее имение, приплелась вместе с прочими. Все эти почтенные и прозорливые женщины уже с четверть часа как пробрались из кухни через коридор на цыпочках и подслушивали в передней, пожираемые самым необъяснимым любопытством. Между тем кто-то наскоро зажег свечку, и всем представилось неожиданное зрелище. Стулья, не выдержавшие двойной тяжести и подпиравшие широкую перину только с краев, разъехались, и перина провалилась между ними на пол. Молодая хныкала от злости; в этот раз она была до

сердца обижена. Нравственно убитый Пселдонимов стоял как преступник, уличенный в злодействе. Он даже не пробовал оправдываться. Со всех сторон раздавались ахи и взвизги. На шум прибежала и мать Пселдонимова, но маанька новобрачной на этот раз одержала полный верх. Она сначала осыпала Пселдонимова странными и по большей части несправедливыми упреками на тему: «Какой ты, батюшка, муж после этого? Куда ты, батюшка, годен, после такого сраму?» — и прочее и, наконец, взяв дочку за руку, увела ее от мужа к себе, взяв лично на себя ответственность назавтра перед грозным отцом, потребовавшим отчета. За нею убралась и все, ахая и покивая головами своими. С Пселдонимовым осталась только мать его и попробовала его утешить. Но он немедленно прогнал ее от себя.

Ему было не до утешений. Он добрался до дивана и сел в угрюмейшем раздумье, так, как был, босой и в необходимейшем белье. Мысли перекрещивались и путались в его голове. Порой, как бы машинально, он оглядывал кругом эту комнату, где еще так недавно бесились танцующие и где еще ходил по воздуху папиросный дым. Окурки папирос и конфетные бумажки все еще валялись на залитом и изгаженном полу. Развалина брачного ложа и опрокинутые стулья свидетельствовали о бренности самых лучших и вернейших земных надежд и мечтаний. Таким образом он просидел почти час. Ему приходили в голову всё тяжелые мысли, как, например: что-то теперь ожидает его на службе? он мучительно сознавал, что надо переменить место службы во что бы ни стало, а оставаться на прежнем невозможно, именно вследствие всего, что случилось в сей вечер. Приходил ему в голову и Млекопитаев, который, пожалуй, завтра же заставит его опять плясать казачка, чтобы испытать его кротость. Сообразил он тоже, что Млекопитаев хоть и дал пятьдесят рублей на свадебный день, которые ушли до копейки, но четыреста рублей приданных и не думал еще отдавать, даже помню о том еще не было. Да и на самый дом еще не было полной формальной записи. Задумывался он еще о жене своей, покинувшей его в самую критическую минуту его жизни, о высоком офицере, становившемся на одно колено перед его женой. Он это

уже успел заметить; думал он о семи бесах, сидевших в жене его, по собственному свидетельству ее родителя, и о клюке, приготовленной для изгнания их... Конечно, он чувствовал себя в силах много перенести, но судьба подпускала, наконец, такие сюрпризы, что можно было, наконец, и усомниться в силах своих.

Так горевал Пселдонимов. Между тем огарок погас. Мерцающий свет его, падавший прямо на профиль Пселдонимова, отражал его в колоссальном виде на стене, с вытянутой шеей, с горбатым носом и с двумя вихрами волос, торчавшими на лбу и на затылке. Наконец, когда уже повеяло утренней свежестью, он встал, издрогнувший и онемевший душевно, добрался до перины, лежавшей между стульями, и, не поправляя ничего, не потушив огарка, даже не подложив под голову подушки, всполз на четвереньках на постель и заснул тем свинцовым, мертвенным сном, каким, должно быть, спят приговоренные назавтра к торговой казни.

С другой стороны, что могло сравниться и с той мучительной ночью, которую провел Иван Ильич Праллинский на брачном ложе несчастного Пселдонимова! Некоторое время головная боль, рвота и прочие неприятнейшие припадки не оставляли его ни на минуту. Это были адские муки. Сознание, хотя и едва мелькавшее в его голове, озаряло такие бездны ужаса, такие мрачные и отвратительные картины, что лучше, если бы он и не приходил в сознание. Впрочем, все еще мешалось в его голове. Он узнавал, например, мать Пселдонимова — слышал ее незлобивые увещания вроде: «Потерпи, мой голубчик, потерпи, батюшка, стерпится — слюбится», узнавал и не мог, однако, дать себе никакого логического отчета в ее присутствии подле себя. Отвратительные привидения представлялись ему: чаще всех представлялся ему Семен Иванович, но, вглядываясь пристальнее, он замечал, что это вовсе не Семен Иванович, а нос Пселдонимова. Мелькали перед ним и вольный художник, и офицер, и старуха с подвязанной щекой. Более всего занимало его золотое кольцо, висевшее над его головою, в которое продеты были занавески. Он различал его ясно при свете тусклого огарка,

освещавшего комнату, и все добивался мысленно: к чему служит это кольцо, зачем оно здесь, что означает? он несколько раз спрашивал об этом старуху, но говорил, очевидно, не то, что хотел выговорить, да и та, видимо, его не понимала, как он ни добивался объяснить. Наконец, уже под утро, припадки прекратились, и он заснул, заснул крепко, без снов. Он проспал около часу, и когда проснулся, то был уже почти в полном сознании, чувствуя нестерпимую головную боль, а во рту, на языке, обратившемся в какой-то кусок сукна, сквернейший вкус. Он привстал на кровати, огляделся и задумался. Бледный свет начинавшегося дня, пробравшись сквозь щели ставен узкою полоскою, дрожал на стене. Было около семи часов утра. Но когда Иван Ильич вдруг сообразил и припомнил все, что с ним случилось с вечера; когда припомнил все приключения за ужином, свой манкированный¹ подвиг, свою речь за столом; когда представилось ему разом, с ужасающей ясностью все, что может теперь из этого выйти, все, что скажут теперь про него и подумают; когда он огляделся и увидал, наконец, до какого грустного и безобразного состояния довел он мирное брачное ложе своего подчиненного, — о, тогда такой смертельный стыд, такие мучения сошли вдруг в его сердце, что он вскрикнул, закрыл лицо руками и в отчаянии бросился на подушку. Через минуту он вскочил с постели, увидал тут же на стуле свое платье, в порядке сложенное и уже вычищенное, схватил его и поскорее, торопясь, оглядываясь и чего-то ужасно боясь, начал его напяливать. Тут же на другом стуле лежала и шуба его, и шапка, и желтые перчатки в шапке. Он хотел было улизнуть тихонько. Но вдруг отворилась дверь, и вошла старуха Пселдонимова, с глиняным тазом и рукомойником. На плече ее висело полотенце. Она поставила рукомойник и без дальних разговоров объявила, что умыться надобно непременно.

— Как же, батюшка, умойся, нельзя же не умыться-то...

И в это мгновение Иван Ильич сознал, что если есть на всем свете хоть одно существо, которого он бы мог теперь не стыдиться и не бояться, так это именно эта

¹ манкированный (от франц. — *manqué*) — неудавшийся.

старуха. Он умылся. И долго потом в тяжелые минуты его жизни припоминалась ему, в числе прочих угрызений совести, и вся обстановка этого пробуждения, и этот глиняный таз с фаянсовым рукояйником, наполненным холодной водой, в которой еще плавали льдинки, и мыло, в розовой бумажке, овальной формы, с какими-то вытравленными на нем буквами, копеек в пятнадцать ценою, очевидно, купленное для повобрачных, по которое пришлось почать Ивану Ильичу; и старуха с камчатным полотенцем на левом плече. Холодная вода освежила его, он утерся и, не сказав ни слова, не поблагодарив даже свою сестру милосердия, схватил шапку, подхватил на плеча шубу, поданную ему Песедонимовой, и через коридор, через кухню, в которой уже мяукала кошка и где кухарка, приподнявшись на своей подстилке, с жадным любопытством посмотрела ему вслед, выбежал на двор, на улицу и бросился к проезжавшему извозчику. Утро было морозное, мерзлый желтоватый туман застилал еще дома и все предметы. Иван Ильич поднял воротник. Он думал, что на него все смотрят, что его все знают, все узнают...

Восемь дней он не выходил из дому и не являлся в должность. Он был болен, мучительно болен, но более нравственно, чем физически. В эти восемь дней он выжил целый ад, и, должно быть, они зачлись ему на том свете. Были минуты, когда он было думал постричься в монахи. Право, были. Даже воображение его начинало особенно гулять в этом случае. Ему представлялось тихое, подземное пенье, отверзтый гроб, житье в усидненной келье, леса и пещеры; но, очнувшись, он почти тотчас же сознавался, что все это ужаснейший вздор и преувеличения, и стыдился этого вздора. Потом начинались нравственные припадки, имевшие в виду его existence maigre. Потом стыд снова вспыхивал в душе его, разом овладевал ею и все выжигал и растравливал. Он содрогался, представляя себе разные картины. Что скажут о нем, что подумают, как он войдет в канцелярию, какой шепот его будет преследовать целый год, десять лет, всю жизнь. Анекдот его пройдет в потомство. Он внадал даже иногда в такое малодушие,

что готов был сейчас же ехать к Семену Ивановичу и просить у него прощения и дружбы. Сам себя он даже и не оправдывал, он порицал себя окончательно: он не находил себе оправданий и стыдился их.

Думал он тоже подать немедленно в отставку и так, просто, в уединении посвятить себя счастью человечества. Во всяком случае, надо было непременно переменить всех знакомых и даже так, чтоб искоренить всякое о себе воспоминание. Потом ему приходили мысли, что и это вздор и что при усиленной строгости с подчиненными все дело еще можно поправить. Тогда он начинал надеяться и ободряться. Наконец, по прошествии целых восьми дней сомнений и муки он почувствовал, что не может более выносить неизвестности, и *un beau matin*¹ решился отправиться в канцелярию.

Прежде, когда еще он сидел дома, в тоске, он тысячу раз представлял себе, как он войдет в свою канцелярию. С ужасом убеждался он, что непременно услышит за собою двусмысленный шепот, увидит двусмысленные лица, пожмет злокачественнейшие улыбки. Каково же было его изумление, когда на деле ничего этого не случилось. Его встретили почтительно; ему кланялись; все было серьезно; все были заняты. Радость наполнила его сердце, когда он пробрался к себе в кабинет.

Он тотчас же и пресерьезно занялся делом, выслушал некоторые доклады и объяснения, положил решения. Он чувствовал, что никогда еще он не рассуждал и не решал так умно, так дельно, как в это утро. Он видел, что им довольны, что его почитают, что относятся к нему с уважением. Самая щекотливая мнительность не могла бы ничего заметить. Дело шло великолепно.

Наконец, явился и Аким Петрович с какими-то бумагами. При появлении его что-то как будто кольнуло Ивана Ильича в самое сердце, но только на один миг. Он занялся с Аким Петровичем, толковал важно, указывал ему, как надо сделать, и разъяснял. Он заметил только, что он как будто избегает слишком долго глядеть на Акима Петровича или, лучше сказать, что Аким Петрович боялся глядеть на него. Но вот Аким Петрович кончил и стал собирать бумаги.

¹ в одно прекрасное утро (франц.).

— А вот еще просьба есть, — начал он как можно суше, — чиновника Пселдонимова о переводе его в департамент... Его превосходительство Семен Иванович Шипуленко обещали ему место. Просят вашего милостивого содействия, ваше превосходительство.

— А. так он переходит, — сказал Иван Ильич и почувствовал, что огромная тяжесть отошла от его сердца. Он взглянул на Акима Петровича, и в это мгновение взгляды их встретились.

— Что ж, я с моей стороны... я употребляю, — отвечал Иван Ильич, — я готов.

Аким Петрович, видимо, хотел поскорей улизнуть. Но Иван Ильич вдруг, в порыве благородства, решился высказаться окончательно. На него, очевидно, опять нашло вдохновение.

— Передайте ему, — начал он, устремляя ясный и полный глубокого значения взгляд на Акима Петровича, — передайте Пселдонимову, что я ему не желаю зла; да, не желаю!.. Что, напротив, я готов даже забыть все прошедшее, забыть все, все...

Но вдруг Иван Ильич осекся, смотря в изумлении на странное поведение Акима Петровича, который из рассудительного человека, неизвестно почему, оказался вдруг ужаснейшим дураком. Вместо того чтоб слушать и дослушать, он вдруг покраснел до последней глупости, начал как-то уторопленно и даже испривично кланяться какими-то маленькими поклонами и вместе с тем пятиться к дверям. Весь вид его выражал желание провалиться сквозь землю или, лучше сказать, добраться поскорее до своего стола. Иван Ильич, оставшись один, встал в замешательстве со стула. Он смотрел в зеркало и не замечал лица своего.

— Нет, строгость, одна строгость и строгость! — шептал он почти бессознательно про себя, и вдруг яркая краска облила все его лицо. Ему стало вдруг до того стыдно, до того тяжело, как не бывало в самые невыносимые минуты его восьмидневной болезни. «Не выдержал!» — сказал он про себя и в бессилии опустился на стул.

МУЖИК МАРЕЙ¹

...Мне было тогда всего лишь девять лет от роду.. но нет, лучше я начну с того, когда мне было двадцать девять лет от роду.

Был второй день светлого праздника. В воздухе было тепло, небо голубое, солнце высокое, «теплое», яркое, но в душе моей было очень мрачно. Я скитался за казармами, смотрел, отсчитывая их, на пали крепкого острожного тына, но и считать мне их не хотелось, хотя было в привычку. Другой уже день по острогу «шел праздник»; каторжных на работу не выводили, пьяных было множество, ругательства, ссоры начинались поминутно во всех углах. Безобразные, гадкие песни, майданы с картежной игрой под парами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных, за особое буйство, собственным судом товарищей и прикрытых на парах тулупами, пока оживут и очнутся; несколько раз уже обнажавшиеся ножи, — все это, в два дня праздника, до болезни истерзало меня. Да и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула, а тут, в этом месте, особенно. В эти дни даже начальство в острог не заглядывало, не делало обысков, не искало вина, понимая, что надо же дать погулять, раз в год, даже и этим отверженцам и что иначе было бы хуже. Наконец в сердце моем загорелась злоба. Мне встретился поляк М—цкий, из

¹ Рассказы «Мужик Марей», «Кроткая» и «Сон смешного человека» извлекаются из публицистического произведения Достоевского «Дневник писателя».

политических; он мрачно посмотрел на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись: «Je hais ces brigands!»¹ — проскрежетал он мне вполголоса и прошел мимо. Я воротился в казарму, несмотря на то, что четверть часа тому выбежал из нее как полоумный, когда шесть человек здоровых мужиков бросились, все разом, на пьяного татарина Газина усмирять его и стали его бить; били они его нелепо, верблюда можно было убить такими побоями; но знали, что этого Геркулеса трудно убить, а потому били без опаски. Теперь, воротясь, я заметил в конце казармы, на нарах в углу, бесчувственного уже Газина почти без признаков жизни; он лежал прикрытый тулупом, и его все обходили молча: хоть и твердо надеялись, что завтра к утру очнется, «но с таких побоев, не ровен час, пожалуй, что и помрет человек». Я пробрался на свое место, против окна с железной решеткой, и лег навзничь, закинув руки за голову и закрыв глаза. Я любил так лежать: к спящему не пристанут, а меж тем можно мечтать и думать. Но мне не мечталось; сердце билось беспокойно, а в ушах звучали слова М — цкого: «Je hais ces brigands!» Впрочем, что же описывать впечатления; мне и теперь иногда снится это время по ночам, и у меня нет снов мучительнее. Может быть заметят и то, что до сегодня я почти ни разу не заговаривал печатно о моей жизни в каторге; «Записки же из Мертвого дома» написал, пятнадцать лет назад, от лица вымышленного, от преступника, будто бы убившего свою жену. Кстати, прибавлю как подробность, что с тех пор про меня очень многие думают и утверждают даже и теперь, что я сослан был за убийство жены моей.

Мало-помалу я и впрямь забылся и неприметно погружился в воспоминания. Во все мои четыре года каторги я вспоминал непрерывно все мое прошедшее и, кажется, в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова. Эти воспоминания вставали сами, я редко вызывал их по своей воле. Начиналось с какой-нибудь точки, черты, иногда неприметной, и потом мало-помалу вырастало в цельную картину, в какое-нибудь сильное и цельное впечатление. Я анализировал эти впечатления, придавал новые черты уже давно прожитому и,

¹ Ненавижу этих разбойников! (франц.)

главное, поправлял его, поправлял беспрерывно, в этом состояла вся забава моя. На этот раз мне вдруг припомнилось почему-то одно незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего девять лет от роду, — мгновенье, казалось бы, мною совершенно забытое; но я особенно любил тогда воспоминания из самого первого моего детства. Мне припомнился август месяц в нашей деревне: день сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный; лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мне так жалко покидать деревню. Я прошел за гумна и, спустившись в овраг, поднялся в *Лоск* — так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой рошни. И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик. Я знаю, что он пашет круто в гору и лошадь идет трудно, и до меня изредка долетает его окрик: «Ну-ну!» Я почти всех наших мужиков знаю, но не знаю, который это теперь пашет, да мне и все равно, я весь погружен в мое дело, я тоже занят: я выламываю себе ореховый хлыст, чтоб стегать им лягушек; хлысты из орешника так красивы и так непрочны, куда против березовых. Занимают меня тоже букашки и жучки, я их собираю, есть очень нарядные; люблю я тоже маленьких, проворных красно-желтых ящериц, с черными пятнышками, но змеек боюсь. Впрочем, змейки попадаются гораздо реже ящериц. Грибов тут мало; за грибами надо идти в березняк, и я собираюсь отправиться. И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь. Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик: «Волк бежит!» Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика.

Это был наш мужик Марей. Не знаю, есть ли такое имя, но его все звали Мареем, — мужик лет пятидесяти, плотный, довольно рослый, с сильною проседью в темно-русой окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он

даже остановил кобыленку, заслышав крик мой, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другою за его рукав, то он разглядел мой испуг.

— Волк бежит! — прокричал я, задыхаясь.

Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновенье почти мне поверив.

— Где волк?

— Закричал... Кто-то закричал сейчас: «Волк бежит»... — пролепетал я.

— Что ты, что ты, какой волк, померещилось; вишь! Какому тут волку быть! — бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.

— Ишь ведь испужался, ай-ай! — качал он головой. — Полно, родный. Ишь малец, ай!

Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.

— Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окетись. — Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ.

— Ишь ведь, ай, — улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой, — господи, да что это, ишь ведь, ай, ай!

Я понял, наконец, что волка нет и что мне крик: «Волк бежит», померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчетливый, но такие крики (не об одних волках) мне уже раз или два и прежде мерещились, и я знал про то. (Потом, с детством, эти галлюцинации прошли.)

— Ну, я пойду, — сказал я, вопросительно и робко смотря на него.

— Ну и ступай, а я те вослед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! — прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь, — ну, Христос с тобой, ну ступай, — и он перекрестил меня рукой и сам перекрестился. Я пошел, оглядываясь назад почти каждые десять шагов. Марей, пока я шел, все стоял с своею кобыленкою и смотрел мне вслед, каждый раз кивая мне головой, когда я оглядывался. Мне, признаться, было немножко перед ним

стыдно, что я так испугался, но шел я, все еще очень побаваясь волка, пока не поднялся на косогор оврага, до первой риги; тут испуг соскочил совсем, и вдруг откуда ни возьмись бросилась ко мне наша дворовая собака Волчок. С Волчком-то я уж вполне ободрился и обернулся в последний раз к Марсью; лица его я уже не мог разглядеть ясно, но чувствовал, что он все точно так же мне ласково улыбается и кивает головой. Я махнул ему рукой, он махнул мне тоже и тронул кобыленку.

— Ну-ну! — послышался опять отдаленный окрик его, и кобыленка потянула опять свою соху.

Все это мне разом припомнилось, не знаю почему, но с удивительною точностью в подробностях. Я вдруг очнулся и присел на нарах и, помню, еще застал на лице моем тихую улыбку воспоминания. С минуту еще я продолжал припоминать.

Я тогда, придя домой от Марся, никому не рассказывал о моем «приключении». Да и какое это было приключение? Да и об Марсе я тогда очень скоро забыл. Встречаясь с ним потом изредка, я никогда даже с ним не заговаривал, не только про волка, да и ни об чем, и вдруг теперь, двадцать лет спустя, в Сибири, припомнил всю эту встречу с такою ясностью, до самой последней черты. Значит, залегла же она в душе моей неспроста, сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда, когда было надо; припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачиванье головой: «Ишь ведь, испугался, малец!» И особенно этот толстый его, запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим. Конечно, всякий бы ободрил ребенка, но тут в этой уединенной встрече случилось как бы что-то совсем другое, и если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлою любовью взглядом, а кто его заставлял? Был он собственный крепостной наш мужик, а я все же его барчонок; никто бы не узнал, как он ласкал меня, и не награждал за то. Любил он, что ли, так уж очень маленьких детей? Такие бывают. Встреча была уединенная, в пустом поле, и только бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чув-

ством и какою тонкою, почти жемчужною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе. Скажите, не это ли разумел Константин Аксаков, говоря про высокое образование народа нашего?

И вот, когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь в встречающиеся лица. Этот обригтый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную силу песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце. Встретил я в тот же вечер еще раз и М—цкого. Несчастный! У него-то уж не могло быть воспоминаний ни об каких Марсях и никакого другого взгляда на этих людей, кроме: «*Je hais ces brigands!*» Нет, эти поляки вынесли тогда болес нашего!

КРОТКАЯ

Фантастический рассказ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Что был и кто была она

...Вот пока она здесь — еще все хорошо: подхожу и смотрю поминутно; а унесут завтра и — как же я останусь один? Она теперь в зале на столе, составили два ломберных, а гроб будет завтра, белый, белый гроденапль, а впрочем, не про то... Я все хожу и хочу себе уяснить это. Вот уже шесть часов, как я хочу уяснить и все не соберу в точку мыслей. Дело в том, что я все хожу, хожу, хожу... Это вот как было. Я просто расскажу по порядку (порядок!). Господа, я далеко не литератор, и вы это видите, да и пусть, а расскажу, как сам понимаю. В том-то и весь ужас мой, что я все понимаю!

Это если хотите знать, то есть если с самого начала брать, то она, просто-запросто, приходила ко мне тогда закладывать вещи, чтобы оплатить публикацию в «Голосе» о том, что вот, дескать, так и так, гувернантка, согласна и в отъезд, и уроки давать на дому, и проч., и проч. Это было в самом начале, и я, конечно, не различал ее от других: приходит как все, ну и про-

чсе. А потом стал различать. Была она такая тоненькая, белокуренькая, средневысокого роста; со мной всегда мешковата, как будто конфузилась (я думаю, и со всеми чужими была такая же, а я, разумеется, ей был все равно что тот, что другой, то есть если брать как не закладчика, а как человека). Только что получала деньги, тотчас же повертывалась и уходила. И все молча. Другие так спорят, просят, торгуются, чтобы больше дали; эта нет, что дадут... Мне кажется, я все путаюсь... Да; меня прежде всего поразили ее вещи: серебряные позолоченные сережечки, дрянненький медальончик — вещи в двугривенный. Она и сама знала, что цена им гривенник, но я по лицу видел, что они для нее драгоценность, — и действительно это все, что оставалось у ней от папашы и мамашы, после узнал. Раз только я позволил себе усмехнуться на ее вещи. То есть, видите ли, я этого себе никогда не позволяю, у меня с публикой тон джентльменский: мало слов, вежливо и строго. «Строго, строго и строго». Но она вдруг позволила себе принести остатки (то есть буквально) старой заячьей куцавейки, — и я не удержался и вдруг сказал ей что-то, вроде как бы остроты. Батюшки, как вспыхнула! Глаза у ней голубые, большие, задумчивые, но — как загорелись! Но ни слова не выронила, взяла свои «остатки» и — вышла. Тут-то я и заметил ее в первый раз *особенно* и подумал что-то о ней в этом роде, то есть именно что-то в особенном роде. Да: помню и еще впечатление, то есть, если хотите, самое главное впечатление, синтез всего: именно что ужасно молода, так молода, что точно четырнадцать лет. А меж тем ей тогда уж было без трех месяцев шестнадцать. А впрочем, я не то хотел сказать, вовсе не в том был синтез. Назавтра опять пришла. Я узнал потом, что она у Добролюбова и у Мозера с этой куцавейкой была, но те, кроме золота, ничего не принимают и говорить не стали. Я же у ней принял однажды камей (так, дрянненький) — и, осмыслив, потом удивился: я, кроме золота и серебра, тоже ничего не принимаю, а ей допустил камей. Это вторая мысль об пей тогда была, это я помню.

В этот раз, то есть от Мозера, она принесла сигарный янтарный мундштук — вещица так себе, любительская, но у нас опять-таки ничего не стоящая, потому

что мы — только золото. Так как она приходила уже после вчерашнего *бунта*, то я встретил ее строго. Строгость у меня — это сухость. Однако же, выдавая ей два рубля, я не удержался и сказал как бы с некоторым раздражением: «Я ведь это только *для вас*, а такую вещь у вас Мозер не примет». Слово: *для вас* я особенно подчеркнул, и именно в *некотором смысле*. Зол был. Она опять вспыхнула, выслушав это *для вас*, но смолчала, не бросила денег, приняла, — то-то бедности! А как вспыхнула! Я понял, что уколол. А когда она уже вышла, вдруг спросил себя: так неужели же это торжество над ней стоит двух рублей? Хе, хе, хе! Помню, что задал именно этот вопрос два раза: «Стоит ли? стоит ли?» И, смеясь, разрешил его про себя в утвердительном смысле. Очень уж я тогда развеселился. Но это было не дурное чувство: я с умыслом, с намерением; я ее испытать хотел, потому что у меня вдруг забродили некоторые на ее счет мысли. Это была третья *особенная* моя мысль об ней.

...Ну вот с тех пор все и началось. Разумеется, я тотчас же постарался разузнать все обстоятельства стороной и ждал ее прихода с особенным нетерпением. Я ведь предчувствовал, что она скоро придет. Когда пришла, я вступил в любезный разговор с необычайно вежливостью. Я ведь недурно воспитан и имею манеры. Гм. Тут-то я догадался, что она добра и кротка. Добрые и кроткие недолго сопротивляются и хоть вовсе не очень открываются, но от разговора увернуться никак не умеют: отвечают скупно, но отвечают, и чем дальше, тем больше, только сами не уставайте, если вам надо. Разумеется, она тогда мне сама ничего не объяснила. Это потом уже про «Голос» и про все я узнал. Она тогда из последних сил публиковалась, сначала, разумеется, заносчиво: «дескать, гувернантка, согласна в отъезд, и условия присылать в пакетах», а потом: «согласна на все, и учить, и в компаньонки, и за хозяйством смотреть, и за большой ходить, и шить умею», и т. д., и т. д., все известное! Разумеется, все это прибавлялось к публикации в разные приемы, а под конец, когда к отчаянию подошло, так даже и «без жалованья, из хлеба». Нет, не нашла места! Я решился ее тогда в последний раз испытать: вдруг беру сегодняшний «Голос» и показываю ей

объявление: «Молодая особа, круглая сирота, ищет места гувернантки к малолетним детям, преимущественно у пожилого вдовца. Может облегчить в хозяйстве».

— Вот, видите, эта сегодня утром публиковалась, а к вечеру наверно место нашла. Вот как надо публиковаться!

Опять вспыхнула, опять глаза загорелись, повернулась и тотчас ушла. Мне очень понравилось. Впрочем, я был тогда уже во всем уверен и не боялся: мундштуки-то никто принимать не станет. А у ней и мундштуки уже вышли. Так и есть, на третий день приходит, такая бледенькая, взволнованная, — я понял, что у ней что-то вышло дома, и действительно вышло. Сейчас объясню, что вышло, но теперь хочу лишь припомнить, как я вдруг ей тогда шику задал и вырос в ее глазах. Такое у меня вдруг явилось намерение. Дело в том, что она принесла этот образ (решилась принести)... Ах, слушайте! слушайте! Вот теперь уже началось, а то я все путался... Дело в том, что я теперь все это хочу припомнить, каждую эту мелочь, каждую черточку. Я все хочу в точку мысли собрать и — не могу, а вот эти черточки, черточки...

Образ богородицы. Богородица с младенцем, домашний, семейный, старинный, риза серебряная золоченая — стоит — ну, рублей шесть стоит. Вижу, дорог ей образ, закладывает весь образ, ризы не снимая. Говорю ей, лучше бы ризу снять, а образ унесите; а то образ все-таки как-то того.

— А разве вам запрещено?

— Нет, не то что запрещено, а так, может быть, вам самим...

— Ну, снимите.

— Знаете что, я не буду снимать, а поставлю вот туда в кювет, — сказал я, подумав, — с другими образами, под лампадкой (у меня всегда, как открыл кассу, лампадка горела), и просто-запросто возьмите десять рублей.

— Мне не надо десяти, дайте мне пять, я непременно выкуплю.

— А десять не хотите? Образ стоит, — прибавил я, заметив, что опять глазки сверкнули. Она смолчала. Я вынес ей пять рублей.

— Не презирайте никого, я сам был в этих тисках, да еще похуже-с, и если теперь вы видите меня за таким занятием... то ведь это после всего, что я вынес...

— Вы мстите обществу? Да? — перебила она меня вдруг с довольно едкой насмешкой, в которой было, впрочем, много невинного (то есть общего, потому что меня она решительно тогда от других не отличала, так что почти безобидно сказала). «Ага! — подумал я, — вот ты какая, характер объявляется, нового направления».

— Видите, — заметил я тотчас же полушутливо-полутаннистично. — «Я — я есмь часть той части целого, которая хочет делать зло, а творит добро...»

Она быстро и с большим любопытством, в котором, впрочем, было много детского, посмотрела на меня:

— Пойдите... Что это за мысль? Откуда это? Я где-то слышала...

— Не ломайте головы, в этих выражениях Мефистофель рекомендуется Фаусту, «Фауста» читали?

— Не...невнимательно.

— То есть не читали вовсе. Надо прочесть. А впрочем, я вижу опять на ваших губах насмешливую складку. Пожалуйста, не предположите во мне так мало вкуса, что я, чтобы закрасить мою роль закладчика, захотел отрекомендоваться вам Мефистофелем. Закладчик закладчиком и останется. Знаем-с.

— Вы какой-то странный... Я вовсе не хотела вам сказать что-нибудь такое...

Ей хотелось сказать: я не ожидала, что вы человек образованный, но она не сказала, зато я знал, что она это подумала; ужасно я угодил ей.

— Видите, — заметил я, — на всяком поприще можно делать хорошее. Я, конечно, не про себя, я, кроме дурного, положим, ничего не делаю, но...

— Конечно, можно делать и на всяком месте хорошее, — сказала она, быстрым и проникнутым взглядом смотря на меня. — Именно на всяком месте, — вдруг прибавила она. О, я помню, я все эти мгновения помню! И еще хочу прибавить, что когда эта молодежь, эта милая молодежь, захочет сказать что-нибудь такое умное и проникнутое, то вдруг слишком искренно и наивно покажет лицом, что «вот, дескать, я говорю тебе теперь умное и проникнутое», — и не то чтоб из тше-

славия, как наш брат, а так и видишь, что она сама ужасно ценит все это, и верует, и уважает, и думает, что и вы всё это точно так же, как она, уважаете. О, искренность! Вот тем-то и побеждают. А в ней как было прелестно!

Помню, ничего не забыл! Когда она вышла, я разом порешил. В тот же день я пошел на последние поиски и узнал об ней всю остальную, уже текущую подноготную; прежнюю подноготную я знал уже всю от Лукерьи, которая тогда служила у них и которую я уже несколько дней тому подкупил. Эта подноготная была так ужасна, что я и не понимаю, как еще можно было смеяться, как она давеча, и любопытствовать о словах Мефистофеля, сама будучи под таким ужасом. Но — молодежь! Именно это подумал тогда об ней с гордостью и с радостью, потому что тут ведь и великодушнее: дескать, хоть и на краю гибели, а великие слова Гете сияют. Молодость всегда хоть капельку и хоть в кривую сторону, да великодушна. То есть я ведь про нее, про нее одну. И главное, я тогда смотрел уж на нее как на мою и не сомневался в моем могуществе. Знаете, пресладострастная это мысль, когда уж не сомневаешься-то.

Но что со мной. Если я так буду, то когда я соберу все в точку? Скорей, скорей — дело совсем не в том, о боже!

II

Брачное предложение

«Подноготную», которую я узнал об ней, объясню в одном слове: отец и мать померли, давно уже, три года перед тем, а осталась она у беспорядочных теток. То есть их мало назвать беспорядочными. Одна тетка блова, многосемейная, шесть человек детей, мал мала меньше, другая в девках, старая, скверная. Обе скверные. Отец ее был чиновник, но из писарей, и всего лишь личный дворянин — одним словом: все мне на руку. Я являлся как бы из высшего мира: все же отставной штабс-капитан блестящего полка, родовой дворянин, независим и проч., а что касса ссуд, то тетки на это только с уважением могли смотреть. У теток

три года была в рабстве, но все-таки где-то экзамен выдержала, — успела выдержать, урвалась выдержать, из-под поденной безжалостной работы, — а это значило же что-нибудь в стремлении к высшему и благородному с ее стороны! Я ведь для чего хотел жениться? А впрочем, обо мне наплевать, это потом... И в этом ли дело! Детей теткинских учила, белье шила, а под конец не только белье, а, с ее грудью, и полы мыла. Просто они даже ее били, попрекали куском. Кончили тем, что намеревались продать. Тьфу! опускаю грязь подробностей. Потом она мне все подробно передала. Все это наблюдал целый год соседний толстый лавочник, но не простой лавочник, а с двумя бакалейными. Он уж двух жен усахарил и искал третью, вот и нагядел ее: «тихая, дескать, росла в бедности, а я для сирот женюсь». Действительно, у него были сироты. Присватался, стал сговариваться с тетками, к тому же — пятьдесят лет ему; она в ужасе. Вот тут-то и зачастила ко мне для публикаций в «Голосе». Наконец, стала просить теток, чтоб только самую капельку времени дали подумать. Дали ей эту капельку, но только одну, другой не дали, заели: «Сами не знаем, что жрать и без лишнего рта». Я уж это все знал, а в тот день после утрешнего и порешил. Тогда вечером приехал купец, привез из лавки фунт конфет в полтинник; она с ним сидит, а я вызвал из кухни Лукерью и велел сходить к ней шепнуть, что я у ворот и желаю ей что-то сказать в самом неотложном виде. Я собою остался доволен. И вообще я весь тот день был ужасно доволен.

Тут же у ворот, ей, изумленной уже тем, что я ее вызвал, при Лукерье, я объяснил, что сочту за счастье и за честь... Во-вторых: чтоб не удивлялась моей манере и что у ворот: «человек, дескать, прямой и изучил обстоятельства дела». И я не врал, что прямой. Ну, наплевать. Говорил же я не только прилично, то есть выказав человека с воспитанием, но и оригинально, а это главное. Что ж, разве в этом грешно признаваться? Я хочу себя судить и сужу. Я должен говорить рго и сонга¹, и говорю. Я и после вспомнил про то с наслаждением, хоть это и глупо: я прямо объявил

¹ за и против (лат.).

тогда, без всякого смущения, что, во-первых, не особенно талантлив, не особенно умен, может быть даже не особенно добр, довольно дешевый эгоист (я помню это выражение, я его, дорогой идя, тогда сочинил и остался доволен) и что очень, очень может быть заключаю в себе много неприятного и в других отношениях. Все это сказано было с особенного рода гордостью — известно, как это говорится. Конечно, я имел настолько вкуса, что, объявив благородно мои недостатки, не пустился объявлять о достоинствах: «но, дескать, взамен того имею то-то, то-то и это-то». Я видел, что она пока еще ужасно боится, но я не смягчил ничего, мало того, видя, что боится, нарочно усилил: прямо сказал, что сыта будет, ну а нарядов, театров, балов — этого ничего не будет, разве впоследствии, когда цели достигну. Этот строгий тон решительно увлекал меня. Я прибавил, и тоже как можно вскользь, что если я и взял такое занятие, то есть держу эту кассу, то имею одну лишь цель, есть, дескать, такое одно обстоятельство... Но ведь я имел право так говорить: я действительно имел такую цель и такое обстоятельство. Постойте, господа, я всю жизнь ненавидел эту кассу ссуд первый, но ведь, в сущности, хоть и смешно говорить самому себе таинственными фразами, а я ведь «мстил же обществу», действительно, действительно, действительно! Так что острога ее утром насчет того, что я «мщу», была несправедлива. То есть, видите ли, скажи я ей прямо словами: «Да, я мщу обществу», и она бы расхохоталась, как давеча утром, и вышло бы в самом деле смешно. Ну, а косвенным намеком, пустив таинственную фразу, оказалось, что можно подкупить воображение. К тому же я тогда уже ничего не боялся: я ведь знал, что толстый лавочник во всяком случае ей гаже меня и что я, стоя у ворот, являюсь освободителем. Понимал же ведь я это. О, подлости человек особенно хорошо понимает! Но подлости ли? Как ведь тут судить человека? Разве не любил я ее даже тогда уже?

Постойте: разумеется, я ей о благодеянии тогда ни полслова; напротив, о напротив: «это я, дескать, остаюсь благодетельствован, а не *вы*». Так что я это даже словами выразил, не удержался, и вышло, может быть, глупо, потому что заметил беглую складку в лице. Но

в целом решительно выиграл. Поймите, если всю эту грязь припоминать, то припомню и последнее свиство: я стоял, а в голове шевелилось: ты высок, строен, воспитан и — и, наконец, говоря без фанфаронства, ты недурен собой. Вот что играло в моем уме. Разумеется, она, тут же у ворот, сказала мне *да*. Но... но я должен прибавить: она тут же у ворот долго думала, прежде чем сказала *да*. Так задумалась, так задумалась, что я уже спросил было: «Ну что ж?» — и даже не удержался, с таким шиком спросил: «Ну что же-с? — с слово-ерсом.

— Подождите, я думаю.

И такое у ней было серьезное личико, такое — что уж тогда бы я мог прочесть! А я-то обижался: «Неужели, думаю, она между мной и купцом выбирает?» О, тогда я еще не понимал! Я ничего, ничего еще тогда не понимал! До сегодня не понимал! Помню, Лукерья выбежала за мною вслед, когда я уже уходил, остановила на дороге и сказала впопыхах: «Бог вам заплатит, сударь, что нашу барышню милую берете, только вы ей это не говорите, она гордая».

Ну, гордая! Я, дескать, сам люблю горденьких. Гордые особенно хороши, когда... ну, когда уж не сомневаешься в своем над ними могуществе, а? О, низкий, неловкий человек! О, как я был доволен! Знаете, ведь у ней, когда она тогда у ворот стояла задумавшись, чтоб сказать мне *да*, а я удивлялся, знаете ли, что у ней могла быть даже такая мысль: «Если уж несчастье и там и тут, так не лучше ли прямо самое худшее выбрать, то есть толстого лавочника, пусть поскорей убьет пьяный до смерти!» А? Как вы думаете, могла быть такая мысль?

Да и теперь не понимаю, и теперь ничего не понимаю! Я сейчас только что сказал, что она могла иметь эту мысль: что из двух несчастий выбрать худшее, то есть купца? А кто был для нее тогда хуже — я аль купец? Купец или закладчик, цитующий Гете? Это еще вопрос! Какой вопрос? И этого не понимаешь: ответ на столе лежит, а ты говоришь вопрос! Да и наплевать на меня! Не во мне совсем дело... А кстати, что для меня теперь — во мне или не во мне дело? Вот этого так уж совсем решить не могу. Лучше бы спать лечь. Голова болит...

Не заснул. Да и где ж, стучит какой-то пульс в голове. Хочется все это усвоить, всю эту грязь. О, грязь! О, из какой грязи я тогда ее вытащил! Ведь должна же она была это понимать, оценить мой поступок! Нравились мне тоже разные мысли, например, что мне сорок один, а ей только что шестнадцать. Это меня пленяло, это ощущение неравенства, очень сладостно это, очень сладостно.

Я, например, хотел сделать свадьбу *à l'anglaise*¹, то есть решительно вдвоем, при двух разве свидетелях, из коих одна Лукерья, и потом тотчас в вагон, например хоть в Москву (там у меня кстати же случилось дело), в гостиницу, недели на две. Она воспротивилась, она не позволила, и я принужден был ездить к теткам с почтением, как к родственницам, от которых беру ее. Я уступил, и теткам оказано было надлежащее. Я даже подарил этим тварям по сту рублей и еще обещал, ей, разумеется, про то не сказавши, чтобы не огорчить ее низостью обстановки. Тетки тотчас же стали шелковые. Был спор и о приданом: у ней ничего не было, почти буквально, но она ничего и не хотела. Мне, однако же, удалось доказать ей, что совсем ничего — нельзя, и приданое сделал я, потому что кто же бы ей что сделал? Ну, да наплевать обо мне. Разные мои идеи, однако же, я ей все-таки успел тогда передать, чтобы знала по крайней мере. Пospешил даже, может быть. Главное, она с самого начала, как ни крепилась, а бросилась ко мне с любовью, встречала, когда я приезжал по вечерам, с восторгом, рассказывала своим лепетом (очаровательным лепетом невинности!) все свое детство, младенчество, про родительский дом, про отца и мать. Но я все это упоение тут же обдал сразу холодной водой. Вот в том-то и была моя идея. На восторги я отвечал молчанием, благосклонным, конечно... но все же она быстро увидела, что мы различна и что я — загадка. А я, главное, и бил на загадку! Ведь для того, чтобы загадать загадку, я, может быть, и всю эту глупость сделал!

¹ по-английски (франц.).

Во-первых, строгость—так под строгостью и в дом ее ввел. Одним словом, тогда, хотя и будучи доволен, я создал целую систему. О, без всякой натуги сама собой вылилась. Да и нельзя было иначе, я должен был создать эту систему по неотразимому обстоятельству, — что ж я, в самом деле, клеветчу-то на себя! Система была истинная. Нет, послушайте, если уж судить человека, то судить, зная дело... Слушайте!

Как бы это начать, потому что это очень трудно. Когда начнешь оправдываться, — вот и трудно. Видите ли: молодежь презирает, например, деньги, — я тотчас же налег на деньги; я папёр на деньги. И так налег, что она все больше и больше начала умолкать. Раскрывала большие глаза, слушала, смотрела и умолкала. Видите ли: молодежь великодушна, то есть хорошая молодежь, великодушна и порывиста, но мало терпимости, чуть что не так — и презрение. А я хотел широкости, я хотел привить широкость прямо к сердцу, привить к сердечному взгляду, не так ли? Возьму пошлый пример: как бы я, например, объяснил мою кассу ссуд такому характеру? Разумеется, я не прямо заговорил, иначе вышло бы, что я прошу прощения за кассу ссуд, а я, так сказать, действовал гордостью, говорил почти молча. А я мастер молча говорить, я всю жизнь мою проговорил молча и прожил сам с собою целые трагедии молча. О, ведь и я же был несчастлив! Я был выброшен всеми, выброшен и забыт, и никто-то, никто этого не знает! И вдруг эта шестнадцатилетняя нахватала обо мне потом подробностей от подлых людей и думала, что все знает, а сокровенное между тем оставалось лишь в груди этого человека! Я все молчал, и особенно, особенно с ней молчал, до самого вчерашнего дня, — почему молчал? А как гордый человек. Я хотел, чтоб она узнала сама, без меня, но уже не по рассказам подлецов, а чтобы *сама догадалась* об этом человеке и постигла его! Принимая ее в дом свой, я хотел полного уважения. Я хотел, чтоб она стояла предо мной в мольбе за мои страдания — и я стоил того. О, я всегда был горд, я всегда хотел или всего, или ничего! Вот именно потому, что я не половинщик в счастье, а всего захотел, именно потому я и вынужден был так поступить тогда: «дескать, сама догадайся и оцени!» Потому

что, согласитесь, ведь если б я сам начал ей объяснять и подсказывать, влиять и уважения просить, — так ведь я все равно что просил бы милостыни... А впрочем... а впрочем, что ж я об этом говорю!

Глупо, глупо, глупо и глупо! Я прямо и безжалостно (и я напирал на то, что безжалостно) объяснил ей тогда, в двух словах, что великодушные молодые прелестно, но — гроша не стоят. Почему не стоят? Потому что дешево ей достается, получилось не живши, все это, так сказать, «первые впечатления бытия», а вот посмотрим-ка вас на труде! Дешевое великодушные всегда легко, и даже отдать жизнь — и это дешево, потому что тут только кровь кипит и сил избыток, красоты страстно хочется! Нет, возьмите-ка подвиг великодушный трудный, тихий, неслышный, без блеску, с клеветой, где много жертвы и ни капли славы, — где вы, сияющий человек, пред всеми выставлены подлечом, тогда как вы честнее всех людей на земле, — ну-тка, попробуйте-ка этот подвиг, нет-с, откажетесь! А я, — я только всю жизнь и делал, что носил этот подвиг. Сначала спорила, ух как, а потом начала примолкать, совсем даже, только глаза ужасно открывала, слушая, большие, большие такие глаза, внимательные. И... и кроме того, я вдруг увидел улыбку, недоверчивую, молчаливую, нехорошую. Вот с этой-то улыбкой я и ввел ее в мой дом. Правда и то, что ей уж некуда было идти...

IV

Все планы и планы

Кто у нас тогда первый начал?

Никто. Само началось с первого шага. Я сказал, что я ввел ее в дом под строгостью, однако с первого же шага смягчил. Еще невесте, ей было объяснено, что она займется приемом закладов и выдачей денег, и она ведь тогда ничего не сказала (это заметьте). Мало того — принялась за дело даже с усердием. Ну, конечно, квартира, мебель — все осталось по-прежнему. Квартира — две комнаты: одна — большая зала, где отгорожена и касса, а другая — тоже большая, наша комната, общая, тут и спальня. Мебель у меня скуд-

ная; даже у теток была лучше. Кюот мой с лампадкой — это в зале, где касса; у меня же в комнате мой шкаф, и в нем несколько книг, и укладка, ключи у меня; ну, там постель, столы, стулья. Еще невесте сказал, что на наше содержание, то есть на пищу, мне, ей и Лукерье, которую я переманил, определяется в день рубль и не больше: «Мне, дескать, нужно тридцать тысяч в три года, а иначе денег не наживешь». Она не препятствовала, но я сам возвысил содержание на тридцать копеек. Тоже и театр. Я сказал невесте, что не будет театра, и, однако ж, положил раз в месяц театру быть, и прилично, в креслах. Ходили вместе, были три раза, смотрели «Погоню за счастьем» и «Птицы певчие», кажется. (О, наплевать, наплевать!) Молча ходили и молча возвращались. Почему, почему мы с самого начала принялись молчать? Сначала ведь ссор не было, а тоже молчание. Она все как-то, помню, тогда исподтишка на меня глядела; я, как заметил это, и усилил молчание. Правда, это я на молчание напер, а не она. С ее стороны раз или два были порывы, бросалась обнимать меня; но так как порывы были болезненные, истерические, а мне надо было твердого счастья, с уважением от нее, то я принял холодно. Да и прав был: каждый раз после порывов на другой день была ссора.

То есть ссор не было опять-таки, но было молчание и — и все больше и больше дерзкий вид с ее стороны. «Бунт и независимость» — вот что было, только она не умела. Да, это кроткое лицо становилось все дерзче и дерзче. Верите ли, я ей становился поган, я ведь изучил это. А в том, что она выходила порывами из себя, в этом не было сомнения. Ну как, например, выйдя из такой грязи и нищеты, после мытья-то полов, начать вдруг фыркать на нашу бедность! Видите-с: была не бедность, а была экономия, а в чем надо — так и роскошь, в белье, например, в чистоте. Я всегда и прежде мечтал, что чистота в муже прельщает жену. Впрочем, она не на бедность, а на мое будто бы скаредство в экономии: «цели, дескать, имеет, твердый характер показывает». От театра вдруг сама отказалась. И все пуше и пуше насмешливая складка... а я усиливаю молчание, а я усиливаю молчание.

Не оправдываться же? Тут главное — эта касса ссуд,

Позвольте-с: я знал, что женщина, да еще шестнадцати лет, не может не подчиниться мужчине вполне. В женщинах нет оригинальности, это — это аксиома, даже и теперь для меня аксиома! Что ж такое, что там в зале лежит: истина есть истина, и тут сам Мишель ничего не поделает! А женщина любящая, о, женщина любящая — даже пороки, даже злодейства любимого существа обоготворит. Он сам не подыщет своим злодействам таких оправданий, какие она ему найдет. Это великодушно, но не оригинально. Женщину погубила одна лишь неоригинальность. И что ж, повторяю, что вы мне указываете там на столе? Да разве это оригинально, что там на столе? О-о!

Слушайте: в любви ее я был тогда уверен. Ведь бросалась же она ко мне и тогда на шею. Любила, значит, вернее — желала любить. Да, вот так это и было: желала любить, искала любить. А главное ведь в том, что тут и злодейств никаких таких не было, которым бы ей пришлось подыскивать оправдания. Вы говорите: закладчик, и все говорят. А что ж что закладчик? Значит, есть же причины, коли великодушнейший из людей стал закладчиком. Видите, господа, есть идея... то есть, видите, если новую идею произнести, выговорить словами, то выйдет ужасно глупо. Выйдет стыдно самому. А почему? Ничему. Потому, что мы все дрянь и правды не вынесем, или уж я не знаю. Я сказал сейчас «великодушнейший из людей». Это смешно, а между тем ведь это так и было. Ведь это правда, то есть самая, самая правдивая правда! Да, я имел право захотеть себя тогда обеспечить и открыть эту кассу: «Вы отвергли меня, вы, люди то есть, вы прогнали меня с презрительным молчанием. На мой страстный порыв к вам вы ответили мне обидой на всю мою жизнь. Теперь я, стало быть, вправе был оградиться от вас стеной, собрать эти тридцать тысяч рублей и окончить жизнь где-нибудь в Крыму, на Южном берегу, в горах и виноградниках, в своем имении, купленном на эти тридцать тысяч, а главное, вдали от всех вас, но без злобы на вас, с идеалом в душе, с любимой у сердца женщиной, с семьей, если бог пошлет, и — помогая окрестным поселянам». Разумеется, хорошо, что я это сам теперь про себя говорю, а то что могло быть глупее, если б я тогда ей это вслух расписал. Вот почему и гордое молчание, вот почему и сидели

молча. Потому, что ж бы она поняла? Шеснадцать-то лет, первая-то молодость, — да что могла она понять из моих оправданий, из моих страданий? Тут прямолинейность, незнание жизни, юные дешевые убеждения, слепога куриная «прекрасных сердец», а главное тут — касса ссуд и — баста (а разве я был злодей в кассе ссуд, разве не видела она, как я поступал и брал ли я лишнее?)! О, как ужасна правда на земле! Эта прелесть, эта кроткая, это небо — она была тиран, нестерпимый тиран души моей и мучитель! Ведь я наклевету на себя, если этого не скажу! Вы думаете, я ее не любил? Кто может сказать, что я ее не любил? Видите ли: тут ирония, тут вышла злая ирония судьбы и природы! Мы прокляты, жизнь людей проклята вообще! (Моя, в частности!) Я ведь понимаю же теперь, что я в чем-то тут ошибся! Тут что-то вышло не так. Все было ясно, план мой был ясен, как небо: «Суров, горд и в нравственных утешениях ни в чьих не нуждается, страдает молча». Так оно и было, не лгал, не лгал! «Увидит потом сама, что тут было великодушие, но только она не сумела заметить, — и как догадается об этом когда-нибудь, то оценит вдесятеро и падет в прах, сложа в мольбе руки». Вот план. Но тут я что-то забыл или упустил из виду. Не сумел я что-то тут сделать. Но довольно, довольно. И у кого теперь прощения просить? Конечно, так конечно. Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!..

Что ж, я скажу правду, я не побоюсь стать пред правдой лицом к лицу: она виновата, она виновата!..

У

Кроткая бунтует

Ссоры начались с того, что она вдруг вздумала выдавать деньги по-своему, ценить вещи выше стоимости и даже раза два удостоила со мной вступить на эту тему в спор. Я не согласился. Но тут подвернулась эта капитанша.

Пришла старуха капитанша с медальоном — покойного мужа подарок, ну, известно, сувенир. Я выдал тридцать рублей. Принялась жалобно ныть, просить, чтоб сохранили вещь, — разумеется, сохраним. Ну, одним сло-

вом, вдруг через пять дней приходит обменять на браслет, который не стоил и восьми рублей; я, разумеется, отказал. Должно быть, она тогда же угадала что-нибудь по глазам жены, но только она пришла без меня, и та обменяла ей медальон.

Узнав в тот же день, я заговорил кротко, но твердо и резонно. Она сидела на постели, смотрела в землю, щелкая правым носком по коврику (ее жест); дурная улыбка стояла на ее губах. Тогда я, вовсе не возвышая голоса, объявил спокойно, что деньги мои, что я имею право смотреть на жизнь *моими* глазами, и — что когда я приглашал ее к себе в дом, то ведь ничего не скрыл от нее.

Она вдруг вскопчила, вдруг вся затряслась и — что бы вы думали — вдруг затопала на меня ногами; это был зверь, это был припадок, это был зверь в припадке. Я оцепенел от изумления; такой выходки я никогда не ожидал. Но не потерялся, я даже не сделал движения и опять прежним спокойным голосом прямо объявил, что с сих пор лишаю ее участия в моих занятиях. Она захохотала мне в лицо и вышла из квартиры.

Дело в том, что выходить из квартиры она не имела права. Без меня никуда, таков был уговор еще в невестах. К вечеру она воротилась; я ни слова.

Назавтра тоже с утра ушла, напоследок завтра опять. Я запер кассу и направился к теткам. С ними я с самой свадьбы прервал — ни их к себе, ни сам к ним. Теперь оказалось, что она у них не была. Выслушали меня с любопытством и мне же насмеялись в глаза: «Так вам, говорят, и надо». Но я и ждал их смеха. Тут же младшую тетку, девицу, за сто рублей подкупил и двадцать пять дал вперед. Через два дня она приходит ко мне: «Тут, говорит, офицер, Ефимович, поручик, бывший ваш прежний товарищ в полку, замешан». Я был очень изумлен. Этот Ефимович более всего зла мне нанес в полку, а с месяц назад, раз и другой, будучи бесстыден, зашел в кассу под видом закладов и, помню, с женой тогда начал смеяться. Я тогда же подошел и сказал ему, чтоб он не осмеливался ко мне приходить, вспомянув наши отношения; но и мысли об чем-нибудь таком у меня в голове не было, а так просто подумал, что нахал. Теперь же вдруг тетка сообщает, что с ним у ней уже назначено свидание и что всем делом орудует одна прежняя знакомая теток, Юлия Самсоновна, вдова, да еще полков-

ница, — «к ней-то, дескать, ваша супруга и ходит теперь».

Эту картину я сокращу. Всего мне стоило это дело рублей до трехсот, но в двое суток устроено было так, что я буду стоять в соседней комнате, за притворенными дверями, и слышать первый rendez-vous¹ наедине моей жены с Ефимовичем. В ожидании же, накануне, произошла у меня с ней одна краткая, но слишком знаменательная для меня сцена.

Воротилась она перед вечером, села на постель, смотрит на меня насмешливо и ножкой бьет о коврик. Мне вдруг, смотря на нее, влетела тогда в голову идея, что весь этот последний месяц или, лучше, две последние перед сим недели она была совсем не в своем характере, можно даже сказать — в обратном характере: являлось существо буйное, нападающее, не могу сказать бесстыдное, но беспорядочное и само ищущее смятения. Напращивающееся на смятение. Кротость, однако же, мешала. Когда этакая забуйствует, то хотя бы и перескочила меру, а все видно, что она сама себя только ломит, сама себя подгоняет, и что с целомудрием и стыдом своим ей самой первой справиться невозможно. Оттого-то этикие и выскакивают порой слишком уж не в мерку, так что не вернешь собственному наблюдающему уму. Привычная же к разврату душа, напротив, всегда смягчит, сделает гаже, но в виде порядка и приличия, который над вами же имеет претензию превосходствовать.

— А правда, что вас из полка выгнали за то, что вы на дуэль выйти трусили? — вдруг спросила она, с дубу сорвав, и глаза ее засверкали.

— Правда; меня, по приговору офицеров, попросили из полка удалиться, хотя, впрочем, я сам уже перед тем подал в отставку.

— Выгнали как труса?

— Да, они присудили как труса. Но я отказался от дуэли не как трус, а потому, что не захотел подчиниться их тиранническому приговору и вызывать на дуэль, когда нахожди сам обиды. Знаете, — не удержался я тут, — что восстать действом против такой тираннии и принять все последствия — значило выказать гораздо более мужества, чем в какой хотите дуэли.

Я не сдержался, я этой фразой как бы пустился

¹ свидание (франц.).

в оправдание себя; а ей только этого и надо было, этого нового моего унижения. Она злобно рассмеялась.

— А правда, что вы три года потом по улицам в Петербурге как бродяга ходили и по гривеннику просили, и под биллиардами ночевали?

— Я и на Сенной в доме Вяземского ночевывал. Да, правда; в моей жизни было потом, после полка, много позора и падения, но не нравственного падения, потому что я сам же первый ненавидел мои поступки даже тогда. Это было лишь падение воли моей и ума и было вызвано лишь отчаянием моего положения. Но это прошло...

— О, теперь вы лицо — финансист!

То есть это намек на кассу ссуд. Но я уже успел сдержать себя. Я видел, что она жаждет унижительных для меня объяснений и — не дал их. Кстати же позвонил закладчик, и я вышел к нему в залу. После, уже через час, когда она вдруг оделась, чтоб выйти, остановилась предо мной и сказала:

— Вы, однако ж, мне об этом ничего не сказали до свадьбы?

Я не ответил, и она ушла.

Итак, на завтра я стоял в этой комнате за дверями и слушал, как решалась судьба моя, а в кармане моем был револьвер. Она была приодета, сидела за столом, а Ефимович перед нею ломался. И что ж: вышло то (я к чести моей говорю это), вышло точь-в-точь то, что я предчувствовал и предполагал, хоть и не сознавая, что я предчувствую и предполагаю это. Не знаю, понятно ли выражаюсь.

Вот что вышло. Я слушал целый час и целый час присутствовал при поединке женщины, благороднейшей и возвышенной, с светской развратной, тупой тварью, с пресмыкающеюся душой. И откуда, думал я, пораженный, откуда эта наивная, эта кроткая, эта малословная знает все это? Остроумнейший автор великосветской комедии не мог бы создать этой сцены насмешек, наивнейшего хохота и святого презрения добродетели к пороку. И сколько было блеска в ее словах и маленьких словечках; какая острота в быстрых ответах, какая правда в ее осуждении! И в то же время столько девического почти простодушия. Она смеялась ему в глаза над его объяснениями в любви, над его жестами, над его предложениями. Приехав с грубым приступом к делу

и не предполагая сопротивления, он вдруг так и осел. Сначала я бы мог подумать, что тут у ней просто кокетство — «кокетство хоть и развратного, но остроумного существа, чтоб дороже себя выставить». Но нет, правда засияла, как солнце, и сомневаться было нельзя. Из невинности только ко мне, напускной и порывистой, она, неопытная, могла решиться затеять это свидание, но как дошло до дела — то у ней тотчас открылись глаза. Просто металось существо, чтобы оскорбить меня чем бы то ни было, но, решившись на такую грязь, не вынесло беспорядка. И ее ли, безгрешную и чистую, имеющую идеал, мог прельстить Ефимович или кто-либо из этих великосветских тварей? Напротив, он возбуждал лишь смех. Вся правда поднялась из ее души, и негодование вызвало из ее сердца сарказм. Повторяю, этот шут под конец совсем осовел и сидел нахмурившись, едва отвечая, так что я даже стал бояться, чтоб не рискнул оскорбить ее из низкого мщения. И опять повторяю: к чести моей, эту сцену я выслушал почти без изумления. Я как будто встретил одно знакомое. Я как будто шел затем, чтоб это встретить. Я шел, ничего не веря, никакому обвинению, хотя и взял револьвер в карман, — вот правда! И мог разве я вообразить ее другою? Из-за чего ж я любил, из-за чего ж я ценил ее, из-за чего ж женился на ней? О, конечно, я слишком убедился в том, сколь она меня тогда неувидела, но убедился и в том, сколь она непорочна. Я прекратил сцену вдруг, отворив двери. Ефимович вскочил, я взял ее за руку и пригласил со мной выйти. Ефимович нашелся и вдруг звонко и раскатисто расхохотался:

— О, против священных супружеских прав я не возражаю, уводите! И знаете, — крикнул он мне вслед, — хоть с вами и нельзя драться порядочному человеку, но, из уважения к вашей даме, я к вашим услугам... Если вы, впрочем, сами рискнете...

— Слышите! — остановил я ее на секунду на пороге. Затем всю дорогу до дома ни слова. Я вел ее за руку, и она не сопротивлялась. Напротив, она была ужасно поражена, но только до дома. Придя домой, она села на стул и уперлась в меня взглядом. Она была чрезвычайно бледна; губы хоть и сложились тотчас же в насмешку, но смотрела она уже с торжественным и суровым вызовом и, кажется, серьезно убеждена была в первые ми-

нуты, что я убью ее из револьвера. Но я молча вынул револьвер из кармана и положил на стол. Она смотрела на меня и на револьвер. (Заметьте: револьвер этот был ей знаком. Заведен он был у меня и заряжен с самого открытия кассы. Открывая кассу, я порешил не держать ни огромных собак, ни сильного лакея, как, например, держит Мозер. У меня посетителям отворяет кухарка. Но занимающимся нашим ремеслом невозможно лишиться себя, на всякий случай, самозащиты, и я завел заряженный револьвер. Она, в первые дни, как вошла ко мне в дом, очень интересовалась этим револьвером, расспрашивала, и я объяснил даже ей устройство и систему, кроме того, убедил раз выстрелить в цель. Заметьте все это.) Не обращая внимания на ее испуганный взгляд, я, полураздетый, лег на постель. Я был очень обессилен; было уже около одиннадцати часов. Она продолжала сидеть на том же месте, не шевелясь, еще около часа, затем потушила свечу и легла тоже одетая, у стены, на диване. В первый раз не легла со мной, — это тоже заметьте...

VI

Страшное воспоминание

Теперь это страшное воспоминание...

Я проснулся утром, я думаю, в восьмом часу, и в комнате было уже почти совсем светло. Я проснулся разом с полным сознанием и вдруг открыл глаза. Она стояла у стола и держала в руках револьвер. Она не видела, что я проснулся и гляжу. И вдруг я вижу, что она стала подвигаться ко мне с револьвером в руках. Я быстро закрыл глаза и притворился крепко спящим.

Она дошла до постели и стала надо мной. Я слышал все; хоть и настала мертвая тишина, но я слышал эту тишину. Тут произошло одно судорожное движение, — и я вдруг, неудержимо, открыл глаза против воли. Она смотрела на меня, прямо мне в глаза, и револьвер уже был у моего виска. Глаза наши встретились. Но мы глядели друг на друга не более мгновения. Я с силой закрыл глаза опять, и в то же мгновение решил изо всей силы моей души, что более уже не шевельнусь и не открою глаз, что бы ни ожидало меня.

В самом деле, бывает, что и глубоко спящий человек

вдруг открывает глаза, даже приподымает на секунду голову и оглядывает комнату, затем, через мгновение, без сознания кладет опять голову на подушку и засыпает, ничего не помня.

Когда я, встретившись с ее взглядом и ощутив револьвер у виска, вдруг закрыл опять глаза и не шевельнулся, как глубоко спящий, — она решительно могла предположить, что я в самом деле сплю и что ничего не видал, тем более что совсем невероятно, увидав то, что я увидел, закрыть в *такое* мгновение опять глаза.

Да, невероятно. Но она все-таки могла угадать и правду, — это-то и блеснуло в уме моем вдруг, все в то же мгновение. О, какой вихрь мыслей, ощущений пронесся менее чем в мгновение в уме моем, и да здравствует электричество человеческой мысли! В таком случае (почувствовалось мне), если она угадала правду и знает, что я не сплю, то я уже раздавил ее моею готовностью принять смерть, и у ней теперь может дрогнуть рука. Прежняя решимость может разбиться о новое чрезвычайное впечатление. Говорят, что стоящие на высоте как бы тянутся сами книзу, в бездну. Я думаю, много самоубийств и убийств совершилось потому только, что револьвер уже был взят в руки. Тут тоже бездна, тут покатость в сорок пять градусов, о которую нельзя не скользнуть, и вас что-то вызывает непобедимо спустить курок. Но сознание, что я все видел, все знаю и жду от нее смерти молча, — могло удержать ее на покатости.

Тишина продолжалась, и вдруг я ощутил у виска, у волос моих, холодное прикосновение железа. Вы спросите: твердо ли я надеялся, что спасусь? Отвечу вам, как перед богом: не имел никакой надежды, кроме разве одного шанса из ста. Для чего же принимал смерть? А я спрошу: на что мне была жизнь после револьвера, поднятого на меня обожаемым мною существом? Кроме того, я знал, всей силой моего существа, что между нами в это самое мгновение идет борьба, страшный поединок на жизнь и смерть, поединок вот того самого вчерашнего труса, выгнанного за трусость товарищами. Я знал это, и она это знала, если только угадала правду, что я не сплю.

Может быть, этого и не было, может быть, я этого и не мыслил тогда, но это все же должно было быть, хоть без мысли, потому что я только и делал, что об этом думал потом каждый час моей жизни.

Но вы зададите опять вопрос: зачем же ее не спас от злодейства? О, я тысячу раз задавал себе потом этот вопрос — каждый раз, когда, с холодом в спине, припоминал ту секунду. Но душа моя была тогда в мрачном отчаянии: я погибал, я сам погибал, так кого ж бы я мог спасти? И почему вы знаете, хотел ли бы еще я тогда кого спасти? Почему знать, что я тогда мог чувствовать?

Сознание, однако ж, кипело; секунды шли, тишина была мертвая; она все стояла надо мной. — и вдруг я вздрогнул от надежды! Я быстро открыл глаза. Ее уже не было в комнате. Я встал с постели: я победил, — и она была навеки побеждена!

Я вышел к самовару. Самовар подавался у нас всегда в первой комнате, и чай разливала всегда она. Я сел к столу молча и принял от нее стакан чая. Минут через пять я на нее взглянул. Она была страшно бледна, еще бледнее вчерашнего, и смотрела на меня. И вдруг — и вдруг, видя, что я смотрю на нее, она бледно усмехнулась бледными губами, с робким вопросом в глазах. «Стало быть, все еще сомневается и спрашивает себя: знает он или не знает, видел он или не видел?» Я равнодушно отвел глаза. После чая запер кассу, пошел на рынок и купил железную кровать и ширмы. Возвратясь домой, я велел поставить кровать в зале, а ширмам огородить ее. Это была кровать для нее, но я ей не сказал ни слова. И без слов поняла, через эту кровать, что я «все видел и все знаю» и что сомнений уже более нет. На ночь я оставил револьвер как всегда на столе. Ночью она молча легла в эту новую свою постель: брак был расторгнут, «побеждена, но не прощена». Ночью с нею сделался бред, а наутро горячка. Она пролежала шесть недель.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Сон гордости

Лукерья сейчас объявила, что жить у меня не станет и, как похоронят барыню, — сойдет. Моллился на коленях пять минут, а хотел молиться час, но все думаю,

думаю, и все большие мысли, и больная голова, — чего ж тут молиться — один грех! Странно тоже, что мне спать не хочется: в большом, в слишком большом горе, после первых сильнейших взрывов, всегда спать хочется. Приговоренные к смертной казни чрезвычайно, говорят, крепко спят в последнюю ночь. Да так и падо, это по природе, а то силы бы не вынесли... Я лег на диван, но не заснул...

...Шесть недель болезни мы ходили тогда за ней день и ночь — я, Лукерья и ученая сиделка из больницы, которую я нанял. Денег я не жалел, и мне даже хотелось на нее тратить. Доктора я позвал Шредера и платил ему по десяти рублей за визит. Когда она пришла в сознание, я стал меньше являться на глаза. А впрочем, что ж я описываю. Когда она встала совсем, то тихо и молча села в моей комнате за особым столом, который я тоже купил для нее в это время... Да, это правда, мы совершенно молчали; то есть мы начали потом говорить, но — все обычное. Я, конечно, нарочно не распространялся, но я очень хорошо заметил, что и она как бы рада была не сказать лишнего слова. Мне показалось это совершенно естественным с ее стороны. «Она слишком потрясена и слишком побеждена, — думал я, — и, уж конечно, ей надо дать позабыть и привыкнуть». Таким образом мы и молчали, но я каждую минуту приготовлялся про себя к будущему. Я думал, что и она тоже, и для меня было страшно занимательно угадывать: об чем именно она теперь про себя думает?

Еще скажу: о, конечно, никто не ведает, сколько я вынес, стаяя над ней в ее болезни. Но я стаял про себя, и стоны давил в груди даже от Лукерьи. Я не мог представить, предположить даже не мог, чтоб она умерла, не узнав всего. Когда же она вышла из опасности и здоровье стало возвращаться, я, помню это, быстро и очень успокоился. Мало того, я решил *отложить наше будущее* как можно на долгое время, а оставить пока все в настоящем виде. Да, тогда случилось со мной нечто странное и особенное, иначе не умею назвать: я восторжествовал, и одного сознания о том оказалось совершенно для меня довольно. Вот так и прошла вся зима. О, я был доволен, как некогда не бывал, и это всю зиму.

Видите: в моей жизни было одно страшное внешнее обстоятельство, которое до тех пор, то есть до самой катастрофы с женой, каждый день и каждый час давило меня, а именно потеря репутации и тот выход из полка. В двух словах: была тиранническая несправедливость против меня. Правда, меня не любили товарищи за тяжелый характер и, может быть, за смешной характер, хотя часто бывает ведь так, что возвышенное для вас, сокровенное и чтимое вами, в то же время смешит почему-то толпу ваших товарищей. О, меня не любили никогда даже в школе. Меня всегда и везде не любили. Меня и Лукерья не может любить. Случай же в полку был хоть и следствием нелюбви ко мне, но без сомнения носил случайный характер. Я к тому это, что нет ничего обиднее и неспоснее, как погибнуть от случая, который мог быть и не быть, от несчастного скопления обстоятельств, которые могли пройти мимо, как облака. Для интеллигентного существа унижительно. Случай был следующий.

В антракте, в театре, я вышел в буфет. Гусар А — в, вдруг войдя, громко при всех бывших тут офицерах и публике, заговорил с двумя своими же гусарами об том, что в коридоре капитан нашего полка Безумцев сейчас только наделал скандалу «и, кажется, пьяный». Разговор не завязался, да и была ошибка, потому что капитан Безумцев пьян не был, и скандал был, собственно, не скандал. Гусары заговорили о другом, тем и кончилось, но на завтра анекдот проник в наш полк, и тотчас же у нас заговорили, что в буфете из нашего полка был только я один, а когда гусар А — в дерзко отнесся о капитане Безумцеве, то я не подошел к А — ву и не остановил его замечанием. Но с какой же бы стати? Если он имел зуб на Безумцева, то дело это было их личное, и мне чего ж ввязываться? Между тем офицеры начали находить, что дело было не личное, а касалось и полка, а так как офицеров нашего полка тут был только я, то тем и доказал всем бывшим в буфете офицерам и публике, что в полку нашем могут быть офицеры не столь щекотливые насчет чести своей и полка. Я не мог согласиться с таким определением. Мне дали знать, что я могу еще все поправить, если даже и теперь, хотя и поздно, захочу формально объясниться с А — м. Я этого не захотел и так как был раздражен, то отказался с гордостью. Затем

тотчас же подал в отставку, — вот вся история. Я вышел гордый, но разбитый духом. Я упал волей и умом. Тут как раз подошло, что сестрин муж в Москве промотал наше маленькое состояние и мою в нем часть, крошечную часть, но я остался без гроша на улице. Я бы мог взять частную службу, но я не взял: после блестящего мундира я не мог пойти куда-нибудь на железную дорогу. И так — стыд так стыд, позор так позор, падение так падение и чем хуже, тем лучше, — вот что я выбрал. Тут три года мрачных воспоминаний и даже дом Вяземского. Полтора года назад умерла в Москве богатая старуха, моя крестная мать, и неожиданно, в числе прочих, оставила мне по завещанию три тысячи. Я подумал и тогда же решил судьбу свою. Я решил на кассу ссуд, не прося у людей прощения: деньги, затем угол и — новая жизнь вдали от прежних воспоминаний, — вот план. Тем не менее мрачное прошлое и навеки испорченная репутация моей чести томили меня каждый час, каждую минуту. Но тут я женился. Случайно или нет — не знаю. Но, вводя ее в дом, я думал, что ввожу друга, мне же слишком был надобен друг. Но я видел ясно, что друга надо было приготовить, доделать и даже победить. И мог ли я что-нибудь объяснить так сразу этой шестнадцатилетней и предубежденной? Например, как мог бы я, без случайной помощи происшедшей страшной катастрофы с револьвером, уверить ее, что я не трус и что меня обвинили в полку как труса несправедливо? Но катастрофа подоспела кстати. Выдержав револьвер, я отместил всему моему мрачному прошедшему. И хоть никто про то не узнал, но узнала она, а это было все для меня, потому что она сама была все для меня, вся надежда моего будущего в мечтах моих! Она была единственным человеком, которого я готовил себе, а другого и не надо было, — и вот она все узнала; она узнала по крайней мере, что несправедливо поспешила присоединиться к врагам моим. Эта мысль восхищала меня. В глазах ее я уже не мог быть подлецом, а разве лишь странным человеком, но и эта мысль теперь, после всего, что произошло, мне вовсе не так не нравилась: странность не порок, напротив, иногда завлекает женский характер. Одним словом, я нарочно отдалил развязку: того, что произошло, было слишком пока довольно для моего спокойствия и заключало

слишком много картин и матерьяла для мечтаний моих. В том-то и скверность, что я мечтатель: с меня хватило матерьяла, а об ней я думал, что *подождет*.

Так прошла вся зима, в каком-то ожидании чего-то. Я любил глядеть на нее украдкой, когда она сидит, бывало, за своим столиком. Она занималась работой, бельем, а по вечерам иногда читала книги, которые брала из моего шкафа. Выбор книг в шкафу тоже должен был свидетельствовать в мою пользу. Не выходила она почти никуда. Перед сумерками, после обеда, я выводил ее каждый день гулять, и мы делали моцион: но не совершенно молча, как прежде. Я именно старался делать вид, что мы не молчим и говорим согласно, но, как я сказал уже, сами мы оба так делали, что не распространялись. Я делал нарочно, а ей, думал я, необходимо «дать время». Конечно странно, что мне ни разу, почти до конца зимы, не пришло в голову, что я вот исподтишка люблю смотреть на нее, а ни одного-то ее взгляда за всю зиму я не поймал на себе! Я думал, что в ней это робость. К тому же она имела вид такой робкой кротости, такого бессилия после болезни. Нет, лучше выжди и — «и она вдруг сама подойдет к тебе...»

Эта мысль восхищала меня неотразимо. Прибавлю одно, иногда я как будто нарочно разжигал себя самого и действительно доводил свой ум и дух до того, что как будто впадал на нее в обиду. И так продолжалось по несколько времени. Но ненависть моя никогда не могла созреть и укрепиться в душе моей. Да и сам я чувствовал, что как будто это только игра. Да и тогда хоть и разорвал я брак, купив кровать и ширмы, но никогда, никогда не мог я видеть в ней преступницу. И не потому, что судил о преступлении ее легкомысленно, а потому, что имел смысл совершенно простить ее, с самого первого дня, еще прежде даже, чем купил кровать. Одним словом, это странность с моей стороны, ибо я нравственно строг. Напротив, в моих глазах она была так побеждена, была так унижена, так раздавлена, что я мучительно жалел ее иногда, хотя мне при всем этом решительно нравилась иногда идея об ее унижении. Идея этого неравенства нашего нравилась...

Мне случилось в эту зиму нарочно сделать несколько добрых поступков. Я простил два долга, я дал одной бедной женщине без всякого заклада. И жене

я не сказал про это и вовсе не для того, чтобы она узнала, сделал; но женщина сама пришла благодарить, и чуть не на коленях. Таким образом огласилось; мне показалось, что про женщину она действительно узнала с удовольствием.

Но подвигалась весна, был уже апрель в половине, вынули двойные рамы, и солнце стало яркими пучками освещать наши молчаливые комнаты. Но пелена висела предо мною и слепила мой ум. Роковая, страшная пелена! Как это случилось, что все это вдруг упало с глаз, и я вдруг прозрел и все понял! Случай ли это был, день ли пришел такой срочный, солнечный ли луч зажег в отупевшем уме моем мысль и догадку? Нет, не мысль и не догадка были тут, а тут вдруг заиграла одна жилка, замертвевшая было жилка, затряслась и ожила и озарила всю отупевшую мою душу и бесовскую гордость мою. Я тогда точно вскопчил вдруг с места. Да и случилось оно вдруг и внезапно. Это случилось перед вечером, часов в пять после обеда.

II

Пелена вдруг упала

Два слова прежде того. Еще за месяц я заметил в ней странную задумчивость, не то что молчанье, а уже задумчивость. Это тоже я заметил вдруг. Она тогда сидела за работой, наклонив голову к шитью, и не видала, что я гляжу на нее. И вдруг меня тут же поразило, что она такая стала тоненькая, худенькая, лицо бледненькое, губы побелели, — меня все это, в целом, вместе с задумчивостью, чрезвычайно и разом фрапировало. Я уже и прежде слышал маленький сухой кашель, по ночам особенно. Я тотчас встал и отправился просить ко мне Шредера, ей ничего не сказавши.

Шредер прибыл на другой день. Она была очень удивлена и смотрела то на Шредера, то на меня.

— Да я здорова, — сказала она, неопределенно усмехнувшись.

Шредер ее не очень осматривал (эти медики бывают иногда свысока небрежны), а только сказал мне в другой комнате, что это осталось после болезни и что с весной не дурно куда-нибудь съездить к морю, или,

если нельзя, то просто переселиться на дачу. Одним словом, ничего не сказал, кроме того, что есть слабость или там что-то. Когда Шредер вышел, она вдруг сказала мне опять, ужасно серьезно смотря на меня:

— Я совсем, совсем здорова.

Но, сказавши, тут же вдруг покраснела, видимо от стыда. Видимо, это был стыд. О, теперь я понимаю: ей было стыдно, что я еще *муж ее*, забочусь об ней, все еще будто бы настоящий муж. Но тогда я не понял и краску приписал смиреннию (пелена!).

И вот, месяц после того, в пятом часу, в апреле, в яркий солнечный день я сидел у кассы и вел расчет. Вдруг слышу, что она, в нашей комнате, за своим столом, за работой, тихо-тихо... запела. Эта новость произвела на меня потрясающее впечатление, да и до сих пор я не понимаю его. До тех пор я почти никогда не слышал ее поющую, разве в самые первые дни, когда ввел ее в дом и когда еще могли резвиться, стреляя в цель из револьвера. Тогда еще голос ее был довольно сильный, звонкий, хотя неверный, но ужасно приятный и здоровый. Теперь же песенка была такая слабенькая — о, не то чтобы заунывная (это был какой-то романс), но как будто бы в голосе было что-то надтреснутое, сломанное, как будто голосок не мог справиться, как будто сама песенка была больная. Она пела вполголоса, и вдруг, поднявшись, голос оборвался, — такой бедненький голосок, так он оборвался жалко; она откашлялась и опять тихо-тихо, чуть-чуть, запела...

Моим волнениям засмеются, но никогда никто не поймет, почему я взволновался! Нет, мне еще не было ее жаль, а это было что-то совсем еще другое. Сначала, по крайней мере в первые минуты, явилось вдруг недомогание и страшное удивление, страшное и странное, болезненное и почти что мстительное: «Поет, и при мне! *Забывала она про меня, что ли?*»

Весь потрясенный, я оставался на месте, потом вдруг встал, взял шляпу и вышел, как бы не соображая. По крайней мере не знаю, зачем и куда. Лукерья стала подавать пальто.

— Она поет? — сказал я Лукерье невольно. Та не понимала и смотрела на меня, продолжая не понимать; впрочем, я был действительно непонятен.

— Это она в первый раз поет?

— Нет; без вас иногда поет, — ответила Лукерья.

Я помню все. Я сошел лестницу, вышел на улицу и пошел было куда попало. Я прошел до угла и стал смотреть куда-то. Тут проходили, меня толкали, я не чувствовал. Я подозвал извозчика и нанял было его к Полицейскому мосту, не знаю зачем. Но потом вдруг бросил и дал ему двугривенный:

— Это за то, что тебя потревожил, — сказал я, бессмысленно смеясь ему, но в сердце вдруг начался какой-то восторг.

Я поворотил домой, учащая шаг. Надтреснутая, бедняшкая, порвавшаяся нотка вдруг опять зазвенела в душе моей. Мне дух захватывало. Падала, падала с глаз пелена! Коль запела при мне, так про меня позабыла, — вот что было ясно и страшно. Это сердце чувствовало. Но восторг снял в душе моей и пересилил страх.

О ирония судьбы! Ведь ничего другого не было и быть не могло в моей душе, всю зиму, кроме этого же восторга, но я сам-то где был всю зиму? Был ли я-то при моей душе? Я взбежал по лестнице очень спеша, не знаю, робко ли я вошел. Помню только, что весь пол как бы волновался и я как бы плыл по реке. Я вошел в комнату, она сидела на прежнем месте, шила, наклонив голову, но уже не пела. Бегло и любопыттно взглянула было на меня, но не взгляд это был, а так только жест, обычный и равнодушный, когда в комнату входит кто-нибудь.

Я прямо подошел и сел подле на стул, вплоть, как помешанный. Она быстро на меня посмотрела, как бы испугавшись; я взял ее за руку и не помню, что сказал ей, то есть хотел сказать, потому что я даже и не мог говорить правильно. Голос мой срывался и не слушался. Да я и не знал, что сказать, а только задыхался.

— Поговорим... знаешь... скажи что-нибудь! — вдруг пролепетал я что-то глупое — о, до ума ли было? Она опять вздрогнула и отшатнулась в сильном испуге, глядя на мое лицо, но вдруг — *строгое удивление* выразилось в глазах ее. Да, удивление, и *строгое*. Она смотрела на меня большими глазами. Эта строгость, это строгое удивление разом так и размозжили меня: «Так тебе еще любви? любви?» — как будто спросилось вдруг в этом удивлении, хоть она и молчала. Но я все

прочел, все. Все во мне сотряслось, и я так и рухнул к ногам ее. Да, я свалился ей в ноги. Она быстро вскочила, но я с чрезвычайною силою удержал ее за обе руки.

И я понимал вполне мое отчаяние, о, понимал! Но перите ли, восторг кипел в моем сердце до того неустержимо, что я думал, что я умру. Я целовал ее ноги в упоении и в счастье. Да, в счастье, безмерном и бесконечном, и это при понимании-то всего безвыходного моего отчаяния! Я плакал, говорил что-то, но не мог говорить. Испуг и удивление сменялись в ней вдруг какою-то озабоченною мыслью, чрезвычайным вопросом, и она странно смотрела на меня, дико даже, она хотела что-то поскорее понять, и улыбнулась. Ей было страшно стыдно, что я целую ее ноги, и она отнимала их, но я тут же целовал то место на полу, где стояла ее нога. Она видела это и стала вдруг смеяться от стыда (знаете это, когда смеются от стыда). Наступала истерика, я это видел, руки ее вздрагивали, — я об этом не думал и все бормотал ей, что я ее люблю, что не встану, «дай мне целовать твоё платье... так всю жизнь на тебя молиться...» Не знаю, не помню, — и вдруг она зарыдала и затряслась; наступил страшный припадок истерик. Я испугал ее.

Я перенес ее на постель. Когда прошел припадок, то, присев на постели, она с страшно убитым видом схватила мои руки и просила меня успокоиться: «Полноте, не мучьте себя, успокойтесь!» — и опять начинала плакать. Весь этот вечер я не отходил от нее. Я все ей говорил, что повезу ее в Булонь купаться в море, теперь, сейчас, через две недели, что у ней такой надтреснутый голосок, я слышал давеча; что я закрою кассу, продам Добронравову; что начнется все новое, а главное, в Булонь, в Булонь! Она слушала и все боялась. Все больше и больше боялась. Но главное для меня было не в том, а в том, что мне все более и неустержимее хотелось опять лежать у ее ног, и опять целовать, целовать землю, на которой стоят ее ноги, и молиться ей и — «больше я ничего, ничего не спрошу у тебя, — повторял я поминутно, — не отвечай мне ничего, не замечай меня вовсе, и только дай из угла посмотреть на тебя, обрати меня в свою вещь, в собачонку...» Она плакала.

— *А я думала, что вы меня оставите так,* — вдруг

вырвалось у ней невольно, так невольно, что, может быть, она совсем и не заметила, как сказала, а между тем — о, это было самое главное, самое роковое ее слово и самое понятное для меня в тот вечер, и как будто меня полоснуло от него ножом по сердцу! Все оно объяснило мне, все, но пока она была подле, перед моими глазами, я неудержимо надеялся и был страшно счастлив. О, я страшно утомил ее в тот вечер, и понимал это, но беспрерывно думал, что все сейчас переделаю! Наконец, к ночи, она совсем обессилела, я уговорил ее заснуть, и она заснула тотчас, крепко. Я ждал бреда, бред был, но самый легкий. Я вставал ночью почти поминутно, тихонько в туфлях приходил смотреть на нее. Я ломал руки над ней, смотря на это больное существо на этой бедной коечке, железной кровати, которую я ей купил тогда за три рубля. Я становился на колени, но не смел целовать ее ног у спящей (без ес-то воли!). Я становился молиться богу, но вскакивал опять. Лукерья присматривалась ко мне и все выходила из кухни. Я вышел к ней и сказал, чтобы она легла и что завтра начнется «совсем другое».

И я в это слепо, безумно, ужасно верил. О, восторг, восторг заливал меня! Я ждал только завтрашнего дня. Главное, я не верил никакой беде, несмотря на симптомы. Смысл еще не возвратился весь, несмотря на упавшую пелену, и долго, долго не возвращался, — о, до сегодня, до самого сегодня! Да и как, как он мог тогда возвратиться: ведь она тогда была еще жива, ведь она была тут же передо мной, а я перед ней: «Она завтра проснется, и я ей все это скажу, и она все увидит». Вот мое тогдашнее рассуждение, просто и ясно, потому и восторг! Главное, тут эта поездка в Булонь. Я почему-то все думал, что Булонь — это все, что в Булонь что-то заключается окончательное. «В Булонь, в Булонь!..» Я с безумием ждал утра.

III

Смиком понимаю

А ведь это было всего только несколько дней назад, пять дней, всего только пять дней, в прошлый вторник! Нет, нет, еще бы только немного времени, только бы

капельку подождала и — и я бы развеял мрак! Да разве она не успокоилась? Она на другой же день слушала меня уже с улыбкою, несмотря на замешательство... Главное, все это время, все пять дней, в ней было замешательство или стыд. Боялась тоже, очень боялась. Я не спорю, я не буду противоречить, подобно безумному: страх был, но ведь как же было ей не бояться? Ведь мы так давно стали друг другу чужды, так отучились один от другого, и вдруг все это... Но я не смотрел на ее страх, сняло новое!.. Правда, несомненная правда, что я сделал ошибку. И даже было, может быть, много ошибок. Я, и как проснулся на другой день, еще с утра (это в среду было), тотчас вдруг сделал ошибку: я вдруг сделал ее моим другом. Я поспешил, слишком, слишком, но исповедь была нужна, необходима — куда, более чем исповедь! Я не скрыл даже того, что и от себя всю жизнь скрывал. Я прямо высказал, что целую зиму только и делал, что уверен был в ее любви. Я ей разъяснил, что касса была лишь падением моей воли и ума, личная идея самобичевания и самовосхваления. Я ей объяснил, что я тогда в буфете действительно струсил, от моего характера, от мнительности: поразила обстановка, буфет поразили; поразило то: как это я вдруг выйду, и не выйдет ли глупо? Струсил не дуэли, а того, что выйдет глупо... А потом уж не хотел сознаться и мучил всех, и ее за то мучил, и на ней затем женился, чтобы ее за то мучить. Вообще я говорил большею частью как в горячке. Она сама брала меня за руки и просила перестать: «Вы преувеличиваете... вы себя мучаете», — и опять начинались слезы, опять чуть не припадки! Она все просила, чтобы я ничего этого не говорил и не вспоминал.

Я не смотрел на просьбы или мало смотрел: весна, Булонь! Там солнце, там новое наше солнце, я только это и говорил! Я запер кассу, дела передал Доброправову. Я предложил ей вдруг раздать все бедным, кроме основных трех тысяч, полученных от крестной матери, на которые и съездили бы в Булонь, а потом воротимся и начнем новую трудовую жизнь. Так и положили, потому что она ничего не сказала... она только улыбнулась. И, кажется, более из деликатности улыбнулась, чтобы меня не огорчить. Я видел ведь, что я ей в тягость, не думайте, что я был так глуп и такой эгоист,

что этого не видел. Я все видел, все до последней черты, видел и знал лучше всех; все мое отчаяние стояло на виду!

Я ей все про меня и про нее рассказывал. И про Лукерью. Я говорил, что я плакал... О, я ведь и переменял разговор, я тоже старался отнюдь не напоминать про некоторые вещи. И даже ведь она оживилась, раз или два, ведь я помню, помню! Зачем вы говорите, что я смотрел и ничего не видел? И если бы только это не случилось, то все бы воскресло. Ведь рассказывала же она мне еще третьего дня, когда разговор зашел о чтевиш и о том, что она в эту зиму прочитала — ведь рассказывала же она и смеялась, когда припомнила эту сцену Жиль-Блаза с архиепископом Гренадским. И каким детским смехом, милым, точно как прежде в пестках (миг! миг!); как я был рад! Меня это ужасно поразило, впрочем, про архиепископа: ведь нашла же она, стало быть, столько спокойствия духа и счастья, чтобы смеяться шедевру, когда сидела зной. Стало быть, уже вполне начала успокаиваться, вполне начала уже верить, что я оставляю ее *так*. «Я думала, что вы меня оставите *так*», — вот ведь что она произнесла тогда во вторник! О, десятилетней девочки мысль! И ведь верила, верила, что и в самом деле все останется *так*: она за своим столом, а я за своим, и так мы оба, до шестидесяти лет. И вдруг — я тут подхожу, муж, и мужу надо любви! О недоразумение, о слепота моя!

Ошибка тоже была, что я на нее смотрел с восторгом; надо было скрепиться, а то восторг пугал. Но ведь и скрепился же я, я не целовал уже более ее ног. Я ни разу не показал виду, что... ну, что я муж, — о, и в уме моем этого не было, я только молился! Но ведь нельзя же было совсем молчать, ведь нельзя же было не говорить вовсе! Я ей вдруг высказал, что наслаждалась ее разговором и что считаю ее несравненно, несравненно образованнее и развитее меня. Она очень покраснела и, конфузясь, сказала, что я преувеличиваю. Тут я, сдуруто, не сдержавшись, рассказал, в каком я был восторге, когда, стоя тогда за дверью, слушал ее поединком, поединком невинности с той тварью, и как наслаждался ее умом, блеском остроумия и при таком детском простодушии. Она как бы вся вздрогнула, пролепетала было

опять, что я преувеличиваю, но вдруг все лицо ее омрачилось, она закрылась руками и зарыдала... Тут уж и я не выдержал: опять упал перед нею, опять стал целовать ее ноги, и опять кончилось припадком, так же как во вторник. Это было вчера вечером, а наутро...

Наутро?! Безумец, да ведь это утро было сегодня, еще давеча, только давеча!

Слушайте и вникните: ведь когда мы сошлись давеча у самовара (это после вчерашнего-то припадка), то она даже сама поразила меня своим спокойствием, вот ведь что было! А я-то всю ночь трепетал от страха за вчерашнее. Но вдруг она подходит ко мне, становится сама передо мной и, сложив руки (давеча, давеча!), начала говорить мне, что она — преступница, что она это знает, что преступление ее мучило всю зиму, мучает и теперь... что она слишком ценит мое великодушие... «я буду вашей верной женой, я вас буду уважать...» Тут я вскочил и как безумный обнял ее! Я целовал ее, целовал ее лицо, в губы, как муж, в первый раз после долгой разлуки. И зачем только я давеча ушел, всего только на два часа... наши заграничные паспорта... О боже! Только бы пять минут, пять минут раньше воротиться?.. А тут эта толпа в наших воротах, эти взгляды на меня... о господи!

Лукерья говорит (о, я теперь Лукерью ни за что не отпущу, она все знает, она всю зиму была, она мне все рассказывать будет), она говорит, что, когда я вышел из дому, и всего-то минут за двадцать каких-нибудь до моего прихода, — она вдруг вошла к барыне в нашу комнату что-то спросить, не помню, и увидела, что образ ее (тот самый образ богородицы) у ней вынут, стоит перед нею на столе, а барыня как будто сейчас только перед ним молилась. «Что вы, барыня?» — «Ничего, Лукерья, ступай... Пстой, Лукерья», — подошла к ней и поцеловала ее. «Счастливы вы, говорю, барыня?» — «Да, Лукерья». — «Давно, барыня, следовало бы барину к вам прийти прощения попросить... Слава богу, что вы помирились». — «Хорошо, говорит, Лукерья, уйди, Лукерья», — и улыбнулась этак, да странно так. Так странно, что Лукерья вдруг через десять минут воротилась посмотреть на нее: «Стоит она у стены, у самого окна, руку приложила к стене, а к руке прижала голову, стоит этак и думает. И так глубоко заду-

мавшись стоит, что и не слыхала, как я стою и смотрю на нее из той комнаты. Вижу я, как будто она улыбается, стоит, думает и улыбается. Посмотрела я на нее, повернулась тихонько, вышла, а сама про себя думаю, только вдруг слышу, отворили окошко. Я тотчас пошла сказать, что «свежо, барыня, не простудились бы вы», и вдруг вижу, она стала на окно и уж вся стоит, во весь рост, в открытом окне, ко мне спиной, в руках образ держит. Сердце у меня тут же упало, кричу: «Барыня, барыня!» Она услышала, двинулась было повернуться ко мне, да не повернулась, а шагнула, образ прижала к груди и бросилась из окошка!»

Я только помню, что, когда я в ворота вошел, она была еще теплая. Главное, они все глядят на меня. Сначала кричали, а тут вдруг замолчали и все передо мной расступаются и... и она лежит с образом. Я помню, как во мраке, что я подошел молча и долго глядел, и все обступили и что-то говорят мне. Лукерья тут была, а я не видал. Говорит, что говорила со мной. Помню только того мещанина: он все кричал мне, что «с горстку крови изо рта вышло, с горстку, с горстку!», и указывал мне на кровь тут же на камне. Я, кажется, тронул кровь пальцем, запачкал палец, гляжу на палец (это помню), а он мне все: «С горстку, с горстку!»

— Да что такое с горстку? — завопил я, говорят, изо всей силы, поднял руки и бросился на него...

О, дико, дико! Недоразумение! Неправдоподобие! Невозможности!

IV

Всего только пять минут опоздал

А разве нет? Разве это правдоподобно? Разве можно сказать, что это возможно? Для чего, зачем умерла эта женщина?

О, поверьте, понимаю; но для чего она умерла — все-таки вопрос. Испугалась любви моей, спросила себя серьезно: принять или не принять, и не вышла вопроса, и лучше умерла. Знаю, знаю, нечего голову ломать: обещаний слишком много надавала, испугалась, что сдержать нельзя, — ясно. Тут есть несколько обстоятельств совершенно ужасных.

Потому что для чего она умерла? все-таки вопрос стоит. Вопрос стучит, у меня в мозгу стучит. Я бы и оставил ее только так, если б ей захотелось, чтоб осталось так. Она тому не поверила, вот что! Нет — нет, я вру, вовсе не это. Просто потому, что со мной надо было честно; любить, так всецело любить, а не так, как любила бы купца. А так как она была слишком целомудренна, слишком чиста, чтоб согласиться на такую любовь, какой надо купцу, то и не захотела меня обманывать. Не захотела обманывать полулюбовью под видом любви, или четверть-любовью. Честны уж очень, вот что-с! Широкость сердца-то хотел тогда привить, помните? Страшная мысль.

Ужасно любопытно: уважала ли она меня? Я не знаю, презирала ли она меня, или нет? Не думаю, чтоб презирала. Страшно ужасно: почему мне ни разу не пришло в голову, во всю зиму, что она меня презирает? Я в высшей степени был уверен в противном до самой той минуты, когда она поглядела на меня тогда с *строгим удивлением*. С *строгим*, именно. Тут-то я сразу и понял, что она презирает меня. Понял безвозвратно, навеки! Ах, пусть, пусть презирала бы, хоть всю жизнь, но — пусть бы она жила, жила! Давеча еще ходила, говорила. Совсем не понимаю, как она бросилась из окошка! И как бы мог я предположить даже за пять минут? Я позвал Лукерью. Я теперь Лукерью ни за что не отпущу, ни за что!

О, нам еще можно было сговориться. Мы только страшно отвыкли в зиму друг от друга, но разве нельзя было опять приучиться? Почему, почему мы бы не могли сойтись и начать опять новую жизнь? Я великодушен, она тоже — вот и точка соединения! Еще бы несколько слов, два дня, не больше, и она бы все поняла.

Главное, обидно то, что все это случай — простой, варварский, косный случай. Вот обидно! Пять минут, всего, всего только пять минут опоздал! Приди я за пять минут — и мгновение пронеслось бы мимо, как облако, и ей бы никогда потом не пришло в голову. И кончилось бы тем, что она бы все поняла. А теперь опять пустые комнаты, опять я один. Вон маятник стучит, ему дела нет, ему ничего не жаль. Нет никого — вот беда!

Я хожу, я все хожу. Знаю, знаю, не подсказывайте:

вам смешно, что я жалуясь на случай и на пять минут? Но ведь тут очевидность. Рассудите одно: она даже записки не оставила, что вот, дескать, «не вините никого в моей смерти», как все оставляют. Неужто она не могла рассудить, что могут потревожить даже Лукерью: «одна, дескать, с ней была, так ты и толкнула ее». По крайней мере, затаскали бы без вины, если бы только на дворе четверо человек не видали из окошек из флигеля и со двора, как стояла с образом в руках и сама кинулась. Но ведь и это случай, что люди стояли и видели. Нет, все это — мгновенно, одно лишь безотчетное мгновение. Внезапность и фантазия! Что ж такое, что перед образом молилась? Это не значит, что перед смертью. Все мгновение продолжалось, может быть, всего только каких-нибудь десять минут, все решение — именно когда у стены стояла, прислонившись головой к руке, и улыбалась. Влетела в голову мысль, закружилась и — и не могла устоять перед нею.

Тут явное недоразумение, как хотите. Со мной еще можно бы жить. А что, если малокровие? Просто от малокровия, от истощения жизненной энергии? Устала она в зиму, вот что...

Опоздал!!!

Какая она тоненькая в гробу, как заострился носик! Ресницы лежат стрелками. И ведь как упала — ничего не размозжила, не сломала! Только одна эта «горстка крови». Десертная ложка то есть. Внутреннее сотрясение. Странная мысль: если бы можно было не хоронить? Потому что если ее унесут, то... о нет, унести почти невозможно! О, я ведь знаю, что ее должны унести, я не безумный и не брежу вовсе, напротив, никогда еще так ум не сиял, — но как же так опять никого в доме, опять две комнаты, и опять я один с закладами. Бред, бред, вот где бред! Измучил я ее — вот что!

Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера? Пусть судит меня ваш судья, пусть приведут меня в суд, в ваш гласный суд, и я скажу, что я не признаю ничего. Судья крикнет: «Молчите, офицер!» А я крикну ему: «Где у тебя теперь такая сила, чтобы я послушался? Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже? Зачем же мне теперь ваши законы? Я отделиюсь». О, мне все равно!

Слепая, слепая! Мертвая, не слышит! Не знаешь ты, каким бы раем я оградил тебя. Рай был у меня в душе, я бы насадил его кругом тебя! Ну, ты бы меня не любила. — и пусть, ну что же? Все и было бы так, все бы и оставалось так. Рассказывала бы только мне, как другу, — вот бы и радовались, и смеялись радостно, глядя друг другу в глаза. Так бы и жили. И если б и другого полюбила — ну и пусть, пусть! Ты бы шла с ним и смеялась, а я бы смотрел с другой стороны улицы... О, пусть все, только пусть бы она открыла хоть раз глаза! На одно мгновение, только на одно! взглянула бы на меня, вот как давеча, когда стояла передо мной и давала клятву, что будет верной женой! О, в одном бы взгляде все поняла!

Косность! О, природа! Люди на земле одни — вот беда! «Есть ли в поле жив человек?» — кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? Все мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание — вот земля! «Люди, любите друг друга» — кто это сказал? чей это завет? Стучит маятник бесчувственно, противно. Два часа ночи. Ботиночки ее стоят у кровати, точно ждут ее... Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду?

СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА

Фантастический рассказ

I

Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если б я все еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде. Но теперь уж я не сержусь, теперь они все мне милы, и даже когда они смеются надо мной — и тогда чем-то даже особенно милы. Я бы сам смеялся с ними, — не то что над собой, а их любя, если б мне не было так грустно, на них глядя. Грустно потому, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох, как тяжело одному знать истину! Но они этого не поймут. Нет, не поймут.

А прежде я тосковал очень оттого, что казался смешным. Не казался, а был. Я всегда был смешон, и знаю это, может быть, с самого моего рождения. Может быть, я уже семи лет знал, что я смешон. Потом я учился в школе, потом в университете, и что же — чем больше я учился, тем больше я научался тому, что я смешон. Так что для меня вся моя университетская наука как бы для того только и существовала под конец, чтобы доказывать и объяснять мне, по мере того как я в нее углублялся, что я смешон. Подобно как в науке, шло и в жизни. С каждым годом нарастало и укреплялось во мне то же самое сознание о моем смешном виде во всех отношениях. Надо мной смеялись все и всегда. Но не знали они никто и не догадывались о том, что если был человек на земле, больше всех знавший про то, что

я смешон, так это был сам я, и вот это-то было для меня всего обиднее, что они этого не знают, но тут я сам был виноват: я всегда был так горд, что ни за что и никогда не хотел никому в этом признаться. Гордость эта росла во мне с годами, и если б случилось так, что я хоть перед кем бы то ни было позволил бы себе признаться, что я смешной, то, мне кажется, я тут же, в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера. О, как я страдал в моем отрочестве о том, что я не выдержу и вдруг как-нибудь признаюсь сам товарищам. Но с тех пор, как я стал молодым человеком, я хоть и узнавал с каждым годом все больше и больше о моем ужасном качестве, но почему-то стал немного спокойнее. Именно почему-то, потому что я и до сих пор не могу определить почему. Может быть, потому, что в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня: именно — это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде *все равно*. Я очень давно предчувствовал это, но полное убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне *все равно* было бы, существовал ли бы мир, или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что *ничего при мне не было*. Сначала мне все казалось, что зато было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей, и почти стал не замечать их. Право, это обнаруживалось даже в самых мелких пустяках; я, например, случалось, иду по улице и натываюсь на людей. И не то чтоб от задумчивости: об чем мне было думать, я совсем перестал тогда думать: мне было все равно. И добро бы я разрешил вопросы; о, ни одного не разрешил, а сколько их было? Но мне стало *все равно*, и вопросы все удалились.

И вот, после того уж, я узнал истину. Истину я узнал в прошлом ноябре, и именно третьего ноября, и с того времени я каждое мгновение мое помню. Это было в мрачный, самый мрачный вечер, какой только может быть. Я возвращался тогда в одиннадцатом часу вечера домой, и именно, помню, я подумал, что уж не может быть более мрачного времени. Даже в физическом отношении. Дождь лил весь день, и это был самый холодный

и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я это помню, с явной враждебностью к людям, а тут вдруг, в одиннадцатом часу, перестал, и началась страшная сырость, сырее и холоднее, чем когда дождь шел, и ото всего шел какой-то пар, от каждого камня на улице и из каждого переулка, если заглянуть в него в самую глубину, подалее, с улицы. Мне вдруг представилось, что если б потух везде газ, то стало бы отравнее, а с газом грустнее сердцу, потому что он все это освещает. Я в этот день почти не обедал и с раннего вечера просидел у одного инженера, а у него сидели еще двое приятелей. Я все молчал и, кажется, им надоело. Они говорили об чем-то вызывающем и вдруг даже разгорячились. Но им было все равно, я это видел, и они горячились только так. Я им вдруг и высказал это: «Господа, ведь вам, говорю, все равно». Они не обиделись, а все надо мной засмеялись. Это оттого, что я сказал без всякого упрека и просто потому, что мне было все равно. Они и увидели, что мне все равно, и им стало весело.

Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо. Небо было ужасно темное, но явно можно было различить разорванные облака, а между ними бездонные черные пятна. Вдруг я заметил в одном из этих пятен звездочку и стал пристально глядеть на нее. Это потому, что эта звездочка дала мне мысль: я положил в эту ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще два месяца назад, и как я ни беден, а купил прекрасный револьвер и в тот же день зарядил его. Но прошло уже два месяца, а он все лежал в ящике; но мне было до того все равно, что захотелось, наконец, улучшить минуту, когда будет не так все равно, для чего так — не знаю. И, таким образом, в эти два месяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думал, что застрелюсь. Я все ждал минуты. И вот теперь эта звездочка дала мне мысль, и я положил, что это будет непременно уже в эту ночь. А почему звездочка дала мысль — не знаю.

И вот, когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за локоть эта девочка. Улица уже была пуста и никого почти не было. Вдали спал на дрожках извозчик. Девочка была лет восьми, в платочке и в одном платьишке, вся мокрая, но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки, и теперь помню. Они мне особенно

мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была от чего-то в ужасе и кричала отчаянно: «Мамочка! мамочка!» Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти, но она бежала и дергала меня, и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хотя она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то помирает или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтоб помочь маме. Но я не пошел за ней, и, напротив, у меня явилась вдруг мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, чтоб она отыскала городского. Но она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, все бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул. Она прокричала лишь: «Барин, барин!..», но вдруг бросила меня и стремглав перебежала улицу: там показался тоже какой-то прохожий, и она, видно, бросилась от меня к нему.

Я поднялся в мой пятый этаж. Я живу от хозяев, и у нас номера. Комната у меня бедная и маленькая, а окно чердачное, полукруглое. У меня клеенчатый диван, стол, на котором книги, два стула и покойное кресло, старое-престарое, но зато вольтеровское. Я сел, зажег свечку и стал думать. Рядом, в другой комнате, за перегородкой, продолжался содом. Он шел у них еще с третьего дня. Там жил отставной капитан, а у него были гости — человек шесть стрюцких, пили водку и играли в штос старыми картами. В прошлую ночь была драка, и я знаю, что двое из них долго таскали друг друга за волосы. Хозяйка хотела жаловаться, но она боится капитана ужасно. Прочих жильцов у нас в номерах всего одна маленькая ростом и худенькая дама, из полковых, приезжая, с тремя маленькими и заболевшими уже у нас в номерах детьми. И она и дети боятся капитана до обмороку и всю ночь трясутся и крестятся, а с самым маленьким ребенком был от страха какой-то припадок. Этот капитан, я наверно знаю, останавливает иной раз прохожих на Невском и просит на бедность. На службу его не принимают, но, странное дело (я ведь к тому и рассказываю это), капитан во весь месяц,

с тех пор как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады. От знакомства я, конечно, уклонился с самого начала, да ему и самому скучно со мной стало с первого же разу, но сколько бы они ни кричали за своей перегородкой и сколько бы их там ни было, — мне всегда все равно. Я сижу всю ночь и, право, их не слышу, — до того о них забываю. Я ведь каждую ночь не сплю до самого рассвета, и вот уже этак год. Я просыпываю всю ночь у стола в креслах и ничего не делаю. Книжки читаю я только днем. Сижу и даже не думаю, а так, какие-то мысли бродят, а я их пускаю на волю. Свечка сгорает в ночь вся. Я сел у стола тихо, вынул револьвер и положил перед собою. Когда я его положил, то, помню, спросил себя: «Так ли?», и совершенно утвердительно ответил себе: «Так». То есть застрелюсь. Я знал, что уж в эту ночь застрелюсь наверно, но сколько еще просижу до тех пор за столом — этого не знал. И уж конечно бы застрелился, если б не та девочка.

II

Видите ли: хоть мне и было все равно, но ведь боль-то я, например, чувствовал. Ударь меня кто, и я бы почувствовал боль. Так точно и в нравственном отношении: случись что-нибудь очень жалкое, то почувствовал бы жалость, так же как и тогда, когда мне было еще в жизни не все равно. Я и почувствовал жалость давеча: уж ребенку-то я бы непременно помог. Почему ж я не помог девочке? А из одной явившейся тогда идеи: когда она дергала и звала меня, то вдруг возник тогда передо мной вопрос, и я не мог разрешить его. Вопрос был праздный, но я рассердился. Рассердился вследствие того вывода, что если я уже решил, что в нынешнюю ночь с собой покончу, то, стало быть, мне все на свете должно было стать теперь, более чем когда-нибудь, все равно. Отчего же я вдруг почувствовал, что мне не все равно, и я жалею девочку? Я помню, что я ее очень пожалел; до какой-то даже странной боли, и совсем даже невероятной в моем положении. Право, я не умею лучше передать этого тогдашнего моего мимолетного ощущения, но ощущение продолжалось и дома, когда уже я засел за столом, и

я очень был раздражен, как давно уже не был. Рассуждение текло за рассуждением. Представлялось ясным, что если я человек, и еще не нуль, и пока не обратился в нуль, то живу, а следовательно, могу страдать, сердиться и ощущать стыд за свои поступки. Пусть. Но ведь если я убью себя, например, через два часа, то что мне девочка и какое мне тогда дело и до стыда и до всего на свете? Я обращаюсь в нуль, в нуль абсолютный. И неужели сознание о том, что я сейчас *совершенно* не буду существовать, а стало быть, и ничто не будет существовать, не могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство стыда после сделанной подлости? Ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что «дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную подлость сделаю, то теперь могу, потому что через два часа все угаснет». Верите ли, что потому закричал? я теперь почти убежден в этом. Ясным представлялось, что жизнь и мир теперь как бы от меня зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, и действительно ни для кого ничего не будет после меня, и весь мир, только лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас, как призрак, как принадлежность лишь одного моего сознания, и упразднится, ибо, может быть, весь этот мир и все эти люди — я-то сам один и есть. Помню, что, сидя и рассуждая, я обертывал все эти новые вопросы, теснившиеся один за другим, совсем даже в другую сторону и выдумывал совсем уж новое. Например, мне вдруг представилось одно странное соображение, что если б я жил прежде на луне, или на Марсе, и сделал бы там какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок, какой только можно себе представить, и был там за него поруган и обесчещен так, как только можно ощутить и представить лишь разве иногда во сне, в кошмаре, и если б, очутившись потом на земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и, кроме того, знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря с земли на луну, — было бы мне *все равно* или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд, или нет? Вопросы были праздные и лишние, так как револьвер лежал уже передо

мною, и я всем существом моим знал, что *это* будет наверно, но они горячили меня, и я бесился. Я как бы уже не мог умереть теперь, чего-то не разрешив предварительно. Одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел. У капитана же между тем стало тоже все утихать: они кончили в карты, устранивались спать, а пока ворчали и лениво доругивались. Вот тут-то я вдруг и заснул, чего никогда со мной не случалось прежде, за столом в креслах. Я заснул совершенно мне неприметно. Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающей ясностью, с ювелирски мелочной отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например через пространство и время. Сны, кажется, стремят не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне! Между тем с ним происходят во сне вещи совсем непостижимые. Мой брат, например, умер пять лет назад. Я иногда его вижу во сне: он принимает участие в моих делах, мы очень заинтересованы, а между тем я ведь вполне, во все продолжение сна, знаю и помню, что брат мой помер и схоронен. Как же я не дивлюсь тому, что он хоть и мертвый, а все-таки тут подле меня и со мной хлопочет? Почему разум мой совершенно допускает все это? Но довольно. Приступаю к сну моему: Да, мне приснился тогда этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят меня теперь тем, что ведь это был только сон. Но неужели не все равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне Истину? Ведь если раз узнал истину и увидел ее, то ведь знаешь, что она истина и другой нет и не может быть, спите вы или живете. Ну и пусть сон, и пусть, по эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, — о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь!

Слушайте.

III

Я сказал, что заснул незаметно и даже как бы продолжая рассуждать о тех же материях. Вдруг приснилось мне, что я беру револьвер и, сидя, наставляю его прямо в сердце, — в сердце, а не в голову; я же положил

прежде непременно застрелиться в голову, и именно в правый висок. Наставив в грудь, я подождал секунду или две, и свечка моя, стол и стена передо мною вдруг задвигались и заколыхались. Я поскорее выстрелил.

Во сне вы падаете иногда с высоты, или режут вас, или бьют, но вы никогда не чувствуете боли, кроме разве если сами как-нибудь действительно ушибетесь в кровати, тут вы почувствуете боль и всегда почти от боли проснетесь. Так и во сне моем: боли я не почувствовал, но мне представилось, что с выстрелом моим все во мне сотряслось и все вдруг потухло, и стало кругом меня ужасно черно. Я как будто ослеп и онемел, и вот я лежу на чем-то твердом, протянутый, навзничь, ничего не вижу и не могу сделать ни малейшего движения. Кругом ходят и кричат, басит капитан, визжит хозяйка, — и вдруг опять перерыв, и вот уже меня несут в закрытом гробе. И я чувствую, как колыхается гроб, и рассуждаю об этом, и вдруг меня в первый раз поражает идея, что ведь я умер, совсем умер, знаю это и не сомневаюсь, не вижу и не движусь, а между тем чувствую и рассуждаю. Но я скоро мирюсь с этим и, по обыкновению, как во сне, принимаю действительность без спору.

И вот меня зарывают в землю. Все уходит, я один, совершенно один. Я не движусь. Всегда, когда я прежде наяву представлял себе, как меня похоронят в могиле, то собственно с могилой соединял лишь одно ощущение сырости и холода. Так и теперь я почувствовал, что мне очень холодно, особенно концам пальцев на ногах, но больше ничего не почувствовал.

Я лежал и, странно, — ничего не ждал, без спору принимая, что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло времени, — час, или несколько дней, или много дней. Но вот вдруг на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышу гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, и так далее и так далее, всё через минуту. Глубокое негодование загорелось вдруг в сердце моем, и вдруг я почувствовал в нем физическую боль. «Это рана моя, — подумал я, — это выстрел, там пуля...» А капля все капала, каждую минуту и прямо на закрытый мой глаз. И я вдруг воззвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к властителю всего того, что совершалось со мною:

— Кто бы ты ни был, но если ты есть и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозвожь ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое безобразным и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжение миллионов лет мученичества!..

Я воззвал и смолк. Целую почти минуту продолжалось глубокое молчание, и даже еще одна капля упала, но я знал, я беспредельно и нерушимо знал и верил, что непременно сейчас все изменится. И вот вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она раскрита и раскопана, но я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел: была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не было такой темноты! Мы неслись в пространстве уже далеко от земли. Я не спрашивал того, который нес меня, ни о чем, я ждал и был горд. Я уверял себя, что не боюсь, и замирал от восхищения при мысли, что не боюсь. Я не помню, сколько времени мы неслись, и не могу представить: совершалось все так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка, и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце. Я помню, что вдруг увидал в темноте одну звездочку. «Это Сириус?» — спросил я, вдруг не удержавшись, ибо я не хотел ни о чем спрашивать. «Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой», — отвечало мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно имело как бы лик человеческого. Странное дело, я не любил это существо, даже чувствовал глубокое отвращение. Я ждал совершенного небытия и с тем выстрелил себе в сердце. И вот я в руках существа, конечно не человеческого, но которое *есть*, существует: «А, стало быть, есть и за гробом жизни!» — подумал я с странным легкомыслием сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубине: «И если надо *быть* снова, — подумал я, — и жить опять по чьей-то неустрашимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!» — «Ты знаешь, что я боюсь тебя, и за то презираешь меня», — сказал я вдруг моему спутнику, не удержавшись от унижительного вопроса,

в котором заключалось признание, и ощутив, как укол булавки, в сердце моем унижение мое. Он не ответил на вопрос мой, но я вдруг почувствовал, что меня не презирают и надо мной не смеются и даже не сожалеют меня и что путь наш имеет цель неизвестную и таинственную и касающуюся одного меня. Страх нарастал в моем сердце. Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы пронизало меня. Мы неслись в темных и неведомых пространствах. Я давно уже перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть такие звезды в небесных пространствах, от которых лучи доходят на землю лишь в тысячи и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то в страшной, измучившей мое сердце тоске. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть *наше* солнце, породившее *нашу* землю, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то, всем существом моим, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его и двойник его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моем сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы.

— Но если это — солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше, — вскричал я, — то где же земля? — И мой спутник указал мне на звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней.

— И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели она такая же земля, как и наша... совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая, и такую же мучительную любовь рожающая к себе в самых неблагодарных даже детях своих, как и наша?.. — вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мною.

— Увидишь все, — ответил мой спутник, и какая-то печаль послышалась в его слове. Но мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих, я уже раз-

личал океан, очертания Европы, и вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце моем: «Как может быть подобное повторение и для чего? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо. Есть ли мучение на этой новой земле? На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение! Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтоб любить. Я хочу, я жажду, в сию минуту, целовать, обнимаясь слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!..»

Но спутник мой уже оставил меня. Я вдруг, совсем как бы для меня незаметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного, как рай, дня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле греческий Архипелаг, или где-нибудь на побережье материка, прилегающего к этому Архипелагу. О, все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым, наконец, торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом, и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И, наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, — о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица

их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не спрашивали меня ни о чем, но как бы всё уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего.

IV

Видите ли что, опять-таки: ну, пусть это был только сон! Но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их вовсе; мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся познать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и выше, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится познать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них: точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на

всю природу — на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслю только, а каким-то живым путем. О, эти люди и не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я, в слезах, порою целовал их ноги, радостно зная в сердце своем, какою силою любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они, все время, не оскорбить такого, как я, и ни разу не возбудить в таком, как я, чувства ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвастун и лежец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желать удивить их ими, или хотя бы только из любви к ним? Они были резвы и веселы, как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкою пищею, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У них была любовь и рождалась дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям, как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хотя и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерца-

тельного. Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертию. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и непрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что, когда исполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостью, но не торопись, не страдали по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славил его и прощались с ним. Они славил природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга, как дети; это были самые простые песни, но они выливались из сердца и пронизали сердца. Да и не в песнях одних, а, казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце мое как бы проникалось им безотчетно и все более и более. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и слезу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть, на земле нашей, на заходящее солнце без слез... Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска: зачем я не могу ненавидеть их, не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они слушали меня, и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что

им говорил о том: я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым, проникнутым любовью взглядом, когда я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца, то и я не жалел, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывало дух, и я молча молился на них.

О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или почувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил, проспавшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было — боже, какой смех они подняли мне в глаза и какое я им доставил веселье! О да, конечно, и был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в до крови раненном сердце моем: но зато действительные образы и формы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, проспавшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова наши, так что они должны были как бы ступешаваться в уме моем, а стало быть, и действительно, может быть, я сам, бессознательно, принужден был сочинить потом подробности и, уж конечно, исказив их, особенно при таком страстном желании моем поскорее и хоть сколько-нибудь их передать. Но зато как же мне не верить, что все это было? Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, но все это не могло не быть. Знаете ли, я скажу вам секрет: все это, быт может, было вовсе не сон! Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я ее один выдумать или пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды! О, судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я... развратил их всех!

Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло совершиться — не знаю, но помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось *невинно*, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость... О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явился союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель. Родилось понятие о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали мучить животных, и животные удалились от них в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках: Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтоб сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить его себе в формах и образах, но странное и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали перед желаниями сердца своего, как дети, обоготворили это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же «желанию», в то же время вполне веруя

в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И, однако, если б только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невнятное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг им показал его вновь и спросил их: хотят ли они возвратиться к нему? — то они наверно бы отказались. Они отвечали мне: «Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы *знаем* это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя, и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердый судья, который будет судить нас и имени которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно, знание выше чувства, сознание жизни — выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья — выше счастья». Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унижить и умалить ее в других, и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтоб те помогали им давить еще слабейших, чем они сами. Явились праведники, которые приходили к этим людям со слезами и говорили им об их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате ими стыда. Над ними смеялись или побивали их камнями. Святая кровь лилась на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят, наконец, человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего или ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если оно не уда-

валось — к самоубийству. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве. Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание есть красота, ибо в страдании лишь мысль. Они воспели страдание в песнях своих. Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, но любил их, может быть, еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней явилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их. Я простираю к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один; что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест. Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь до капли. Но они лишь смеялись надо мной и стали меня считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня, они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть. Наконец, они объявили мне, что я становлюсь им опасен и что они поселят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такою силой, что сердце мое стеснилось, и я почувствовал, что умру, и тут... ну вот тут я и прснулся.

Было уже утро, то есть еще не рассвело, но было около шестого часу. Я очнулся в тех же креслах, свечка моя догорела вся, у капитана спали, и кругом была редкая в нашей квартире тишина. Первым делом я вскочил в чрезвычайном удивлении; никогда со мной не случилось ничего подобного, даже до пустяков и мелочей: никогда еще не засыпал я, например, так в моих креслах. Тут вдруг, пока я стоял и приходил в себя, — вдруг мелькнул передо мной мой револьвер, готовый, заряженный, — но я в один миг оттолкнул его от себя! О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной

истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь и — проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту и уж, конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, — что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!

И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того — люблю всех, которые надо мной смеются, больше всех остальных. Почему это так — не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь, то есть колы уж и теперь сбился так, что ж дальше-то будет? Правда истинная: я сбиваюсь и, может быть, дальше пойдет еще хуже. И, уж конечно, собьюсь несколько раз, пока отыщу, как проповедовать, то есть какими словами и какими делами, потому что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь все это как день вижу, но послушайте: кто же не сбивается! А между тем ведь все идет к одному и тому же, по крайней мере все стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. Старая это истина, но вот что тут новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не верить: я видел истину, — не то что изобрел умом, а видел, видел, и *живой образ* ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей. Итак, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько раз, и буду говорить даже, может быть, чужими словами, но не надолго: *живой образ* того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет. Знаете, я хотел даже скрыть, вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка — вот уже первая ошибка! Но истина шепнула мне, что я *лгу*, и охранила меня и направила. Но как устроить рай — я не знаю, потому что не умю передать словами. После сна моего потерял слова. По крайней мере все главные слова, самые пужные. Но пусть: я пойду и все буду говорить, неустанно, потому что

я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого насмешники и не понимают: «Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию». Эх! Неужто это премудро? А они так гордятся! Сон? что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Большие скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже это-то я понимаю!) — ну, а я все-таки буду проповедовать. А между тем так это просто: в один бы день, *в один бы час* — все бы сразу устроилось! Главное — любви других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться. А между тем ведь это только — старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же! «Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья — выше счастья» — вот с чем бороться надо! И буду. Если только все захотят, то сейчас все устроится.

— А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду!
И пойду!

СОДЕРЖАНИЕ

Честный вор	3
Елка и свадьба	19
Чужая жена и муж под кроватью	28
Маленький герой	70
Скверный анекдот	107
Мужик Марей	160
Кроткая	166
Сон смешного человека	204

МАССОВАЯ СЕРИЯ

Федор Михайлович Достоевский

КРОТКАЯ

Редактор *К. Тюнькин*

Художеств. редактор *И. Жихарев* Технический редактор *З. Евдокимова*

Корректор *Л. Горец*

Сдано в набор 14/II 1960 г. Подписано к печати 17/III 1960 г. Бумага
84×108¹/₃₂—7,0 печ. з. 11,48 усл. печ. л. 11,65 уч.-изд. л.
Тираж . . . 150 000 экз. Заказ № 1055. Цена 2 р. 35 к.

Гослитиздат, Москва, Б-65, Н.-Басманная, 19.

Типография № 2 им. Евг. Соколовой УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29.